

НПО «Издательство «Наука» РАН
Редакция журнала «Славяноведение»
119334, Москва, ул. Мясницкая, д. 32А
тел. 007-495-320-320
e-mail: jurslav@rambler.ru

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО · ВЕДЕНИЕ



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СЛАВЯНОВЕДЕНИЕ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН



2007

СЕНТЯБРЬ •

ОКТАБРЬ •

Содержание

СТАТЬИ

<i>Михеев С.М.</i> (Москва). Различия в описаниях событий и взаимоотношения текстов борисоглебского цикла.....	3
<i>Гиппиус А.А.</i> (Москва). К проблеме редакций Повести временных лет. I	20
<i>Мойсиенко В.М.</i> (Житомир). Этноязыковая принадлежность “русской мовы” во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой	45

СООБЩЕНИЯ

<i>Луховицкий Л.В.</i> (Москва). Греческий оригинал “Написания о правой вере” Константина Философа: структурная организация и полемические задачи.....	65
<i>Чвырь Н.В.</i> (Москва). В поисках своего прошлого: исторические представления болгар-католиков XVIII века.....	74
<i>Бучанов И.И.</i> (Москва). Культура Чехии гуситского периода в работах отечественных историков конца 40-х годов XX – начала XXI века	87

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

<i>Калинина Т.М.</i> А.А. Тортика. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – третья четверть X в.)	93
<i>Мусин А.Е.</i> Святые князья-мученики Борис и Глеб	100
<i>Гаркуша Л.М.</i> J. Voubin. Petr Chelčický. Myslitel a reformátor	111
<i>Косик В.И.</i> Е.П. Серапионова. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы	115

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Кириллов Ю.В., Поляков Д.К.</i> Пражский форум молодых славистов	119
---	-----

К юбилею Иннесы Ильиничны Свириды	124
К юбилею Людмилы Норайровны Будаговой	126

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М.А. РОБИНСОН (главный редактор),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,
Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, К.В. НИКИФОРОВ, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
Л.А. СОФРОНОВА, А.С. СТЫКАЛИН, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

А.С. Стыкалин (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии),
Стыкалин А.С. (отдел истории)

Зав. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Пономарева Е.В., Веслова И.Ю.*

Адрес редакции: *119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20*
E-mail: jurslav@rambler.ru; zhurslav@mail.ru

Рукописи принимаются в электронном виде с распечаткой (1 экз.) объемом: статьи не более 40 тыс. знаков, сообщения – до 30 тыс., рецензии – до 20 тыс. знаков. Научный аппарат должен быть оформлен в соответствии с правилами, принятыми в журнале. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.



© 2007 г. С. М. МИХЕЕВ

РАЗЛИЧИЯ В ОПИСАНИЯХ СОБЫТИЙ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТЕКСТОВ БОРИСОГЛЕБСКОГО ЦИКЛА

О кровавых событиях 1015–1019 гг., последовавших за смертью киевского князя Владимира Святославича, кроме летописи повествуют два древнерусских агиографических памятника: Несторово “Чтение о житии и о погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба” (далее – Чтен.) [1. С. 1–26; 2. С. 179–206; 3. Р. 601–703] и анонимное “Сказание и страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу” (далее – Сказ.) [1. С. 27–51; 2. С. 1–154; 3. Р. 112–459]. В летописи подробно описывается гибель Бориса и Глеба и борьба Ярослава со Святополком. В Чтен. и Сказ. рассказы об убийстве Бориса и Глеба более пространны, а борьба между Святополком и Ярославом освящается менее подробно.

Описание этих событий во всех трех источниках несколько различно, хотя параллели между памятниками никогда не вызывали у исследователей сомнений относительно их тесной зависимости друг от друга. Между тем, проблема истории текстов борисоглебского цикла остается в науке дискуссионной.

Наиболее подробно изучен вопрос о соотношении “Сказания чудес святых страстотерпцев Романа и Давида” [1. С. 52–66; 2. С. 155–178; 3. Р. 477–579]¹ с той частью Чтен., где описываются чудеса, происходившие после гибели Бориса и Глеба [4. С. 112–113, 125–126; 5. С. 40–41 (§ 25), 56–61 (§§ 42–45); 6. С. 133–142, 161–174]. К сожалению, исследование этого вопроса мало что дает для разрешения проблемы соотношения летописи, Сказ. и той части Чтен., где идет речь о междоусобице Владимировичей.

Значительно больше копий сломано по поводу времени канонизации Бориса и Глеба (см. [7] с указанием литературы), также не напрямую связанной с интересующей нас темой.

А.А. Шахматов посвятил вопросу взаимоотношения текстов борисоглебского цикла самую большую главу своих “Разысканий о древнейших русских летописных сводах” [5. С. 29–97 (§§ 14–65)]. Исследователь предположил, что во вто-

Михеев Савва Михайлович – младший научный сотрудник ИСл РАН.

¹ Иногда исследователи включают “Сказание чудес” в состав Сказ., так как в рукописях эти памятники почти всегда соседствуют – “Сказание чудес” помещается после Сказ. Однако такое объединение не совсем корректно – первая часть “Сказания чудес”, в которой Борис и Глеб последовательно называются *Романом и Давидом*, содержит текст, безусловно, более древний, чем Сказ.

рой четверти XI в. было написано летописное сказание о Борисе и Глебе, которое вошло в “Древнейший летописный свод” (далее – Древн. св.). Событийная сторона этой версии рассказа о Борисе и Глебе, по мнению А.А. Шахматова, практически без изменений отразилась в Чтен., что дает нам возможность реконструировать Древн. св. [5. С. 64–66 (§§ 47, 49)]. В конце XI в., согласно А.А. Шахматову, на базе Древн. св. был составлен “Начальный летописный свод” (далее – Нач. св.), в котором фактическая часть сказания о Борисе и Глебе была значительно видоизменена под влиянием различных новых источников, привлеченных редактором летописи, – по большей части, местных легенд [5. С. 70–92 (§§ 52–64)]. Этим сводом и Чтен., по мнению А.А. Шахматова, пользовался около 1115 г. автор Сказ. [5. С. 36–40 (§§ 21–24)]. ПВЛ, написанная чуть позже, по мысли исследователя, включила сказание о Борисе и Глебе из Нач. св. практически без изменений [5. С. 30–32 (§§ 15–16)].

Позже концепция А.А. Шахматова была подвергнута критике. Однако никто из последующих исследователей не изучил столь подробно, как А.А. Шахматов, соотношение фактических сведений источников о междоусобице 1015–1019 гг. и ее предыстории.

В этой статье я хочу вновь поднять вопрос о значимости различий в описании событий для проблемы взаимоотношения текстов борисоглебского цикла.

Обратимся сначала к различиям анонимного Сказ. и летописи.

В изложении фактической стороны событий Сказ. почти везде согласно с ПВЛ.

Между тем, следует отметить отсутствие в Сказ. некоторых конкретных сведений летописи, на что указывал еще А.И. Соболевский: “Летопись говорит о вышегородских *болярцах* и о *насаде* Глеба; сказание не знает этих узких терминов и заменяет их более широкими и более свойственными литературному языку его времени: *мужи* и *кораблиць*. Замена узких понятий более широкими вполне естественна и легка (так мы можем свободно заменить узкое название *фрегат* широким названием *корабль*); что же касается до обратной замены, то едва ли она была возможна: она была совсем не нужна для летописца, который, к тому же, любил щегольнуть книжным словом” [8. С. 802].

Наиболее значительный вклад в сравнение летописи и Сказ. внес А.А. Шахматов. “Отвергаю самым решительным образом возможность заимствования летописного сказания из подлежащего нашему исследованию житийного (Сказ. – С.М.), – писал А.А. Шахматов. – Житийное сказание не содержит в себе ничего существенного, чего бы не было в летописном; оно отличается от летописного сказания одною риторикой <...>; так, в нем вставлены длинные речи и причитания, сначала Бориса, потом Глеба; длинные размышления приписаны самому Святополку после того, что он убил Глеба. Летописное сказание полно определенных фактов; риторики в нем мало; в сущности, риторика прорвалась только в предсмертном причитании Глеба. Мы знаем ценность сообщаемых нашею летописью фактов; если летописец умел так или иначе представить длинный ряд событий X и XI века, то естественно ему же приписать занесение на письмо фактов, относящихся к убийству Бориса и Глеба; факты эти согласованы с другими, сообщенными им раньше и появляющимися у него позже” [5. С. 33 (§ 18)].

А.А. Шахматов также отметил отсутствие “основания для допущения общего источника, которым руководились бы, с одной стороны, житийное, а с другой, летописное сказание”. По мнению исследователя, “за исключением общих

с летописью фактов, в житии останется одна риторика и лирика; следовательно, предполагать для жития отличный от летописи, не тождественный с летописью источник представляется совершенно излишним; риторика и лирика могла быть прямо сочинена составителем жития” [5. С. 34 (§ 19)]².

Недавно к сравнению летописи и Сказ. обратилась Н.И. Милютенко. Исследовательница отметила, что в отличие от летописи с ее “скупой образностью” в Сказ. мы находим больше определений, причастных оборотов, антитез и повторов, значительно большую роль в повествовании Сказ. играют цитаты [10. С. 160–166]. Разбирая употребление в текстах борисоглебского цикла эпитетов *святой* и *блаженный* применительно к Борису и Глебу, Н.И. Милютенко продемонстрировала, что в летописи эти определения редки, и сделала предположение, что первоначально они в летописи отсутствовали и были вставлены в текст вместе с другими поздними интерполяциями [10. С. 166–170]. Обе выявленные Н.И. Милютенко особенности, как кажется, подкрепляют вывод А.А. Шахматова о невозможности развития от Сказ. к летописи.

Рассмотрим теперь подробно несколько сходных фрагментов летописи и Сказ., чтобы на этих примерах проверить выводы предшествующих исследователей.

Под 6496 г. в большинстве русских летописей читается подробный список сыновей князя Владимира Святославича:

“Володимиръ же просвѣщенъ самъ и с(ы)н(о)ви его · и земля его · бѣ бо оу него с(ы)н(о)въ · 12 · Вышеславъ · Изяславъ · С(вя)тополкъ · и Ярополкъ · Всеволодъ С(вя)тославъ · Мъстиславъ · Борисъ и Глѣбъ · Станиславъ · Позвиздъ · Судиславъ · и посади Вышеслава в Новѣгородѣ · а Изяслава в Полотъскѣ · а С(вя)тополкъ в Туровѣ · Ярослава в Ростовѣ · и оумершу же старшиному · Вышеславу в Новѣгородѣ · и посади Ярослава в Новѣгородѣ · а Бориса в Ро-

² С.А. Бугославский, последовательно сопоставивший в своей диссертации весь сходный текст Сказ. и летописи [9. С. 227–242]), пришел к следующим выводам: “Детальное сравнение Ск[аз.] с л[етописью] свидетельствует, что автор Ск[аз.] почти переписал весь материал летописного рассказа о смерти братьев. Очень немногое он опускает (см. отрывки 3, 5), чаще же распространяет сказанное в летописи в риторически-расширенных оборотах (отрывки 6, 7, 9, 11, 21, 22), иногда из кратких сообщений Л[етописи] строит целые эпизоды с художественно создаваемыми деталями (отрывки 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21). Однако предоставленный самостоятельной работе, отдаляясь от летописного текста или пытаясь сочетать другие статьи Л[етописи], автор Ск[аз.] теряется, впадает нередко в противоречия. Он не умеет согласовать созданные им фактические подробности с изложением своего источника, теряет нить хронологического повествования (см. отрывки 11, 12, 17, 18, 21, 22)” [9. С. 242–243].

Далее С.А. Бугославский пишет: “Автор летописной статьи не задавался целью написать житие; отсюда агиографические общие места у него случайны и немногочисленны. Автор Сказания старательно изложил весь текст летописной статьи, изредка отступая от ее фразеологии, опустив лишь несколько предложений. Поставив себе задачей написать житие Б[ориса] и Г[леба], автор Сказания не мог ограничиться историческим материалом летописной статьи 6523 г. и ее немногими агиографическими местами; он должен был обратиться к общеагиографическому литературному материалу. В уста своих героев автор Сказания вкладывает пространные молитвы и речи, где подчеркивается их непротивление злу и уважение к родовым понятиям, послушание старшим, любовь к ближнему, благочестие и религиозная настроенность. Описание смерти братьев, лаконическое и простое в летописи, автор Сказания расширяет в образные эпизоды, где проявилось его безусловное художественное дарование. Наибольшую независимость автор Сказания проявляет в лирических местах – в молитвах” [9. С. 253].

Все эти наблюдения С.А. Бугославского, несомненно, верны.

стовѣ · а Глѣба въ Муромѣ · С(вя)тостава в Деревѣх Всеволода в Володимѣрѣ · Мьстислава въ Тмутороканѣ" [11. Стб. 105–106]³.

Легко заметить, что братьям, расположенным в списке первыми, достаются наиболее значимые княжения. Из этого следует, что Владимировичи перечислены в этом перечне по старшинству. О Вышеславе – первом в списке – особо говорится, что он был старшим из братьев.

Под 6488 г. в летописях дан другой перечень сыновей Владимира. Этот список сильно отличается по структуре от цитированного выше: он дополнен указанием матерей Владимировичей, дети перечислены в ином порядке. В Новгородской первой летописи младшего извода (НовГмл)⁴, в Лаврентьевской (Лавр.) и Радзивиловской (Радз.) летописях находим примерно одинаковый текст. Привожу его по НовГмл:

“Бѣ же Володимеръ побѣженъ похотью женьскою, и быша ему водимыя: Рогънѣдь, юже посади на Лыбедѣ, идеже есть нынѣ селище Передѣславино, от нея же родишася 4 сыны: Изяслава, Мьстислава, Ярослава, Всеволода, и двѣ дщери; от Грѣкинѣ Святополка, а от Чехинѣ Вышеслава, а от другыя Святослава, Мьстислава, а от Болгарынѣ Бориса и Глѣба” [12. С. 128]⁵.

Второй список обладает несколькими особенностями, смысл которых не совсем ясен. Во-первых, встает вопрос, почему вместо двенадцати сыновей, как в списке 6496 г., здесь перечислены лишь десять и две дочери. Во-вторых, непонятно, почему Владимировичи расположены в перечне 6488 г. не по старшинству. В списке 6496 г. первым сыном назван Вышеслав. То есть если бы автор списка 6488 г. желал составить список по старшинству, то в первую очередь должен был сообщить о том, что сыном Владимира от чехини был Вышеслав.

И.Н. Данилевский обратил внимание на связь списка 6488 г. с библейским списком сыновей Иакова в “Книге Бытия”: “Сынов же у Иакова было двенадцать. Сыновья Лии: первенец Иакова Рувим, по нем Симеон, Левий, Иуда, Иссахар и Завулон. Сыновья Рахили: Иосиф и Вениамин. Сыновья Валлы, служанки Рахилиной: Дан и Неффалим. Сыновья Зелфы, служанки Лииной: Гад и Асир” (Быт. 35: 22–26).

То, что дети Владимира распределены в списке 6488 г. по их матерям, как и сыновья Иакова, по мнению И.Н. Данилевского, говорит о желании летописца связать героев своего повествования с библейскими персонажами [15. С. 169–174].

На мой взгляд, кроме самого факта распределения сыновей (и дочерей) Владимира по матерям, большое значение имеет структурное сходство, которым обладают списки. При параллельном расположении сыновей Иакова и Владимира в таблице 1 с указанием матерей (при соблюдении порядка их перечисления в библейском и летописном списках) образуются ячейки, которые четко соответствуют друг другу.

³ Ср. [12. С. 159; 13. Стб. 121; 14. Л. 66 об.-67]. Во всех списках кроме Ипатьевского списка Ипат. вместо Ярополка указан Ярослав. В Лавр. Святополк и Ярослав перечислены в обратном порядке. В Радз. пропущен текст после слов *Вышеслава в Новгородѣ* до слов *Ярослава в Новгородѣ* включительно.

⁴ В старшем изводе часть летописи, включающая текст списка, отсутствует.

⁵ Ср. [13. Стб. 79-80; 11. Стб. 67; 14. Л. 45]. В нескольких списках Ипат. вместо второго Мьстислава имеется пропуск. В Ипатьевском списке на полях здесь приписан Станислав. Во всех летописях кроме Лавр. вместо “от друугоѣ” ошибочно читается “от друогы”.

Быт. 35: 22–26		Летопись под 6488 г.	
матери	дети	матери	дети
Лия	Рувим Симеон Левий Иуда Иссахар Завулон	Рогънѣдь	Изяславъ Мьстиславъ Ярославъ Всеволодъ двѣ дщери
Рахиль	Иосиф Вениамин	грѣкыни чехыни	Святопѣлкъ Вышеславъ
Валла	Дан Неффалим	дрougая	Святославъ Мьстиславъ
Зелфа	Гад Асир	болгарыни	Борисъ Глѣба

Лишь при взгляде на эту таблицу становится ясно, зачем летописцу понадобилось дополнять список двумя дочерьми и перечислять более старших сыновей после более младших. Именно соответствие количества детей от каждой из жен имело решающее значение при составлении летописного списка⁶.

Для нас сейчас несущественно, какую идею хотел донести до своего читателя летописец, проводя описанную выше параллель⁷. Важно, что в Сказ. перечень сыновей Владимира по своей структуре отличается от летописных списков:

“Съ убо Володимиръ имѣяше сыновъ 12, не отъ единой жены, нъ отъ раснь матеръ ихъ, въ нихъ же бяше старѣй Вышеславъ, а по немъ Изяславъ, 3 – Святополкъ, иже и убиство се зълое изъобрѣтъ. Сего мати преже бѣ чърницею, грѣкыни суци, и поялъ ю бѣ Яропѣлкъ, братъ Володимиръ, и ростригъ ю красоты дѣля лица ея, и зача отъ нея сего Святопѣлка оканьнааго. Володимиръ же, поганъй еще, убивъ Яропѣлка и поятъ жену его, непраздну суццю, отъ нея же родися сий оканьный Святопѣлкъ. И бысть отъ дѣвою отцю и брату суццю, тѣмъ же и не любляше его Володимиръ, акы не отъ себе ему суццю. А отъ Рогнѣди 4 сыны имѣяше: Изяслава, и Мьстислава, и Ярослава, и Всеволода. А отъ иноя Святослава и Мьстислава, а отъ Болгарынѣ Бориса и Глѣба. И посажа вся по роснамъ землямъ въ княженни, иже инъде съкажемъ. Сихъ же съповѣмы убо, о нихъ же и повѣсть си есть. Посади убо сего оканьнаго Святопѣлка въ княженни Пиньскѣ, а Ярослава – Новѣгородѣ, а Бориса – Ростовѣ, а Глѣба – Муромѣ. Нъ се остаану много глаголати, да не многописании въ забыть вълѣземъ” [1. С. 27–28].

⁶ В нашем тексте остались два противоречия. Во-первых, соответствие количества детей от каждой из жен оказалось не соблюдено в случае с Рахилью. Во-вторых, Святополк оказался помещен перед старшим братом Вышеславом. Для выяснения причин этих противоречий необходимо подробное рассмотрение летописных сведений о грекине – матери Святополка. Такое рассмотрение в рамках данной статьи, к сожалению, невозможно.

⁷ Скорее всего, автор списка 6488 г. сопоставлял Владимира с библейским Иаковом, как предположил И.Н. Данилевский [15. С. 173].

А.А. Шахматов предположил, что в этом фрагменте Сказ. склеены два летописных списка Владимировичей – 6496 и 6488 гг. По наблюдению А.А. Шахматова, «согласно с летописью, составитель житийного сказания сообщил о том, что у Владимира было 12 сыновей от нескольких жен; старшим назван Вышеслав (ср. Пов. вр. лет под 988 г.), вторым – Изяслав (ср. там же), третьим назван Святополк (в Пов. вр. л. под 988 он также назван третьим, в Радз. и Ипат. списках); при этом читаем: “сего матери преже бѣ чьрницею Грькыни соущи <...>” (ср. Пов. вр. л. под 977 и 980 гг.). Обращение от статьи 988 года к статье 980 года имело следствием, что выписки продолжались уже из этой статьи: “а отъ Рогнѣди 4 сыны имѣяше: Изяслава, и Мьстислава и Ярослава и Всеволода, а отъ иноя Святослава и Мьстислава, а отъ Българынѣ Бориса и Глѣба” (ср. совершенно то же в Пов. вр. л. под 980)» [5. С. 34–35 (§ 20)].

Выявленная А.А. Шахматовым особенность структуры списка Владимировичей в Сказ. может быть проиллюстрирована таблицей 2.

Таблица 2

Летописи				Сказ.		
под 6488 г.		под 6496 г.				
		бѣ оу него с(ы)н(о)въ 12		имѣяше сыновѣ 12		
матери	дети	№	сыновья	№	матери	сыновья
Рогнѣдь	Изяславъ	1	Вышеславъ	1	грѣкыни	Вышеславъ
	Мьстиславъ	2	Изяславъ	2		Изяславъ
	Ярославъ	3	Святополкъ	3		Святополкъ
	Всеволодъ	4	Ярославъ	Рогнѣдь	Изяславъ	
	двѣ дщери	5	Всеволодъ		Мьстиславъ	
		6	Святославъ		Ярославъ	
грѣкыни	Святополкъ	7	Мьстиславъ			Всеволодъ
чехыни	Вышеславъ	8	Борисъ			
другая	Святославъ	9	Глѣбъ	иная		Святославъ
	Мьстиславъ	10	Станиславъ		Мьстиславъ	
болгарыни	Борисъ	11	Позвиздъ	болгарыни		Борисъ
	Глѣбъ	12	Соудиславъ		Глѣбъ	

Автор этого фрагмента Сказ. разрушил имевшуюся в его источнике (списке 6488 г.) аллюзию. Для него, вероятно, было важнее собрать прямую негативную информацию о Святополке, имевшуюся в летописи.

Итак, анализ списков сыновей Владимира в различных текстах борисоглебского цикла убеждает нас в зависимости Сказ. от летописи⁸.

⁸ Я не намерен проводить дальнейшее детальное сравнение летописи со Сказ., так как практически весь остальной текст этих памятников может быть истолкован как в пользу первичности летописи, так и в пользу первичности Сказ., однако такое истолкование будет почти всегда сугубо гипотетическим.

Мне не известны какие-либо доводы, способные перевесить приведенные выше доказательства того, что текст Сказ. основан на тексте летописи.

Рассмотрим теперь взаимоотношения летописи и Чтен.

Несторово “Чтение” отличается от летописи в первую очередь тем, что в нем мы не находим большинства конкретных сведений, известных по летописи [6. С. 184–185; 16. С. 99; 9. С. 286]. Эта особенность выражена в Чтен. значительно сильнее, чем в Сказ. Вместо перечисления сыновей Владимира автор Чтен. кратко сообщает: *быша сынове мнози у Владимира*, вместо перечисления их столов говорит: *Пусти же благовѣрный князь сыны своя кождо на свою область, яко же даль имъ самъ*. Вместо печенегов в Чтен. фигурируют *ратнии*. Нет в Чтен. подробностей захоронения Владимира. Альта и Смядынь, где были убиты Борис и Глеб соответственно, не упоминаются вовсе. Золотая гривна и отсечение головы Борисова слуги Георгия не упоминаются. Дружине соответствуют у Нестора *суции с нимъ [Борисом] вои. Вышегородьскыи мужи*, перечисленные в летописи поименно, в Чтен. просто названы *слугами* Святополка. Вместо Новгорода находим *полунощные страны*. Не упоминается главарь посланных Святополком убийц Глеба Горясер. Повар Глеба Торчин назван у Нестора просто *старѣишина поваромъ*. О борьбе Ярослава со Святополком говорится кратко: *нъ и на прочюю братью въздвижалие гонения*⁹.

Кроме того, рассказ Нестора местами выглядит более логичным, чем в летописи. Так, отсутствует двукратное описание убийства Бориса (об этой особенности подробнее пойдет речь ниже), отсутствует рассказ о несколько хаотичных передвижениях Глеба перед его убийством, который мы находим в летописи.

Есть у Нестора и некоторые подробности, которых в летописи нет: о Вышгороде уточняется, что он находится в 15 стадиях от Киева, о Киеве – то, что он – столица¹⁰.

Сравнив Чтен. с летописью, А.А. Шахматов писал: “Итак, связь Несторова сказания с летописным очевидна; в них можно отметить даже общие фразы. Особенно важно, что ход рассказа одинаков в том и другом сказании. Объяснить эту связь можно, конечно, трояко: Нестор пользовался летописью; летопись пользовалась Нестором; Нестор и летопись пользовались одним общим источником.

Я не могу признать состоятельным первое объяснение, если под летописью будем понимать Нач. свод или Повесть вр. лет. Не стану выдвигать того аргумента, что летопись эта моложе Несторова сказания; я отрицаю самую возможность того, что Нестор знал летописное сказание в том его виде, в каком оно дошло до нас, в составе хотя бы Начального свода; отрицаю потому, что решительно не понял бы причины резкого отклонения Нестора от фактической

⁹ А.А. Шахматов считал, что указание на точное место гибели Бориса отсутствовало в Дрвн. св., как и в Чтен. По мнению ученого, «если оно было в Древнейшем своде, Нестору не было бы основания опустить его: вместо того, чтобы сказать “а самъ съ отроки пребысть на мѣстѣ томъ день тѣи”, он мог бы поставить: “на Лѣтѣ день тѣи”» [5. С. 83 (§ 59)]. Очевидно, А.А. Шахматов не придавал большого значения тому факту, что в Чтен. отсутствуют *практически все* аналогичные конкретные детали.

А.А. Шахматов также полагал, что имя слуги Георгия не сообщалось в Дрвн. св.: “Сомневаюсь, чтобы Нестор умышленно умолчал его имя, если оно было бы ему известно; мне кажется, что это было бы противно обычным агиологическим приемам. Одно дело – не назвать окаянных убийц или опустить имя того властелина града, сын которого удостоен был исцеления, и другое дело – скрыть имя угодника Божия” [5. С. 85 (§ 60)].

¹⁰ Складывается такое впечатление, что Чтен. создавалось в том числе и для читателей, не знакомых с русскими реалиями.

части дошедшаго до нас летописнаго сказанія, если бы это последнее было ему известно” [5. С. 64 (§ 47)].

Приведем все отличія Чтен. от летописи, которыми А.А. Шахматов обосновывал эту точку зрѣнія.

Во-первых, А.А. Шахматов считал, что Нестор сообщает о княжении Бориса во Владимире-Волынском, хотя по летописи он получил Ростов [5. С. 65 (§ 47)]. Это мнѣніе А.А. Шахматова базируется на интерпретации следующей фразы Нестора: *посла и [т.е. Бориса] потомъ отецъ и на область Владимиръ юже ему дать, а святого Глѣба у себе остави* [1. С. 6]. Слово *Владимиръ* А.А. Шахматов понимает здесь как топоним.

Между тем, С.А. Бугославский объяснил этот пассаж следующим образом: «[П]ринявъ во вниманіе последовательный прием Нестора не называть собственных имен, даже важных для его рассказа, как Киев, Вышгород, Ярослав, Глебовы убійцы, с другой стороны, зная, что Нестор пользуется фактическим матеріалом только летописи и Сказанія, мы полагаем, что “Владимир” здесь собственное имя князя (его Нестор не избегает), а не названіе области; слово “Владимир”, таким образом, является приложением к слову отецъ, но поставлено, с точки зрѣнія современнаго языка не на месте. Стало быть, в Чтеніи здесь нет ничего новаго по сравненію со Сказаніем и летописью» [9. С. 287]. Это предположеніе С.А. Бугославскаго подтверждается при обращеніи к рукописной традиціи: в ряде рукописей слова *Владимиръ юже ему дать* отсутствуют [2. С. 185, прим. 180; 3. С. 628, прим. 33–36].

Во-вторых, А.А. Шахматов считал серьезным расхожденіем Чтен. и летописи в описаніи событій то, что согласно Нестору Владимир оставил Глеба при себе в Киеве, хотя по летописи Глебу был дал в удел Муром [5. С. 64–65 (§ 47)]. Это различіе текстов также было разобрано С.А. Бугославским: «Нестор отступает здесь от Ск[аз.], которое называет уделы Б[ориса] и Г[леба]; он говорит, что Владимир у себя держал Бориса и Глеба “занеже единаче детеска беста”. Если бы Нестор сказал это об одном Глебе, мы могли бы подумать, что высказываніе его восходит к иному источнику; но ведь он говорит, что и Борис остался у отца; ниже, однако, и Нестор сообщает, что Б[орис] был послан “на область”; стало быть, в этом отступленіи можно было видѣть лишь литературный мотив: Нестор хотѣл нарисовать картину благочестиваго сожителства обоих братьев (см. XVI; 119)¹¹. Ниже Нестор (XVI; 196) все же, согласно Ск[аз.], заставляет Бориса *явиться* к отцу, боявшемуся, чтобы Святополк не пролил крови праведнаго» [9. С. 263].

В-третьих, А.А. Шахматов относил к важным отклоненіям Чтен. от летописи то, что согласно Нестору Глеб встретил своих убійц, когда шел из Киева на север в ладьях, а не из Мурома в Киев – сначала на конях и только потом в ладьях – как об этом сообщает летопись [5. С. 76 (§ 55)]. А.А. Шахматов считал сюжет Чтен. первоначальным по отношенію к летописному, однако не привел никаких доводов в пользу этого мнѣнія. На мой взгляд, обратное развитіе представить себе проще: Нестор мог упростить сюжет своего источника для того, чтобы не описывать странныя передвиженія Глеба, так как считал такое описаніе излишним.

¹¹ Здесь С.А. Бугославский отсылает к словам “Сиче же ему [Борису] молящася по вси часы, а святой Глѣбъ послушаше его, сѣдя и не отлучашеся отъ блаженаго Бориса, но с нимъ день и ночь послушаше его” [1. С. 5].

Все эти наблюдения заставляют отказаться от точки зрения А.А. Шахматова, утверждавшего, что летопись, сходная своими фактическими данными с ПВЛ, никак не могла быть источником Чтен.

Оставив пока в стороне вопрос о первичности летописи или Чтен., сравним между собой два агиографических памятника, повествующих об убиении Бориса и Глеба.

Исследователи давно обратили внимание на то, что в Чтен. и Сказ. мы находим ряд параллельных чтений, не имеющих прообразов в тексте летописи. Это говорит о том, что либо автор Чтен. пользовался Сказ., либо наоборот. Большая часть этих параллелей связана с риторическими украшениями, однако есть и пересечения в изложении событийного ряда.

А.А. Шахматов и С.А. Бугославский делали диаметрально противоположные выводы относительно взаимоотношения Чтен. и Сказ.

С.А. Бугославский отстаивал мнение о зависимости Чтен. от Сказ.: «Почти все рассмотренные нами параллели (особенно наши отрывки 1, 5, 7, 9, 16, 18, 25, 26, 27, 34, 35, 38, 39) указывают на прямую зависимость Нестора от текста Сказания. Здесь не может быть речи об общем источнике Чт[ен.] и Ск[аз]. Однако параллели 14, 19 и 21 сближают Чтение и с летописью. Стало быть, Нестор знал и летописное повествование о Б[орисе] и Г[лебе] (ниже покажем, что он пользуется и другими местами летописи). Вся фактическая сторона Сказания с последующими чудесами использована Нестором частично с изменениями; он излагает свое Чтение в той же последовательности, в какой ведется рассказ Сказания (некоторые отступления в Ск[аз]ании о чуд[есах] отмечены выше). Стало быть, Сказание было основным источником Чтения¹². Сказание было неизменно пред глазами Нестора во время его работы над “житием” Б[ориса] и Г[леба], т.к. он его использовал и в отношении текста. Однако он не считал его удовлетворяющим требованиям византийского агиографического стиля; оттого он и принял за свое Чтение; потому он и не заимствует текста из молитв и речей действующих лиц Сказания, потому он старательно перерабатывает и фактическую и стилистическую сторону своего основного источника» [9. С. 285].

Между тем, все выводы С.А. Бугославского могут быть перевернуты с точностью до наоборот. Приводя длинный список текстуальных параллелей Чтен. и Сказ. [9. С. 262–270], исследователь лишь в одном случае пытается *доказать* первичность текста Сказ.: зависимость Чтен. от Сказ. С.А. Бугославский усматривал в различном указании на время правления Владимира, содержащемся во введениях к этим памятникам:

“Сице убо бысть малъмъ преже сихъ¹³, сущю самодръжцю въсеи Русьскѣи земли Володимиру” (Сказ.) [1. С. 27].

“Бысть бо, рече, князь въ тыи годы, володѣй всею землею Рускою, именемъ Владимиръ” (Чтен.) [1. С. 4].

¹² В таком случае нам не придется вместе с Д.В. Айналовым создавать недошедшую до нас и нигде не упоминаемую повесть о Б[орисе] и Г[лебе], написанную якобы митр. Иоанном I (см. ИОРЯС, т. XV (1910), кн. 3, с. 41–42). Все ссылки на “неизвестного автора” (“рече”) относятся к анон. Ск[аз]. и др. известным памятникам. В упомянутой нашей статье о Несторе написаны эти ссылки и их источники (гл. 1); здесь же разобраны те недоуменные вопросы, которые возникают, если предположить, что Ск[аз]. пользуется Чтением. (Примечание С.А. Бугославского. – С.М.)

¹³ В некоторых списках добавлено *лѣтъ*.

По мнению ученого, слова *въ тѣхъ годы*, безусловно, должны были быть написаны позднее выражения *малѣмъ преже сихъ лѣтъ* [9. С. 262]. Этот вывод С.А. Бугославского не кажется мне доказательным.

Все остальные параллели между Чтен. и Сказ., приведенные исследователем, доказывают лишь тесную связь этих памятников, но никак не то, что Нестор пользовался “Сказанием”.

Между тем, не желая верить в возможность обратного развития текстов, С.А. Бугославский задает противникам своей точки зрения следующие вопросы:

“Если мы предположим, что анонимное Сказание воспользовалось Чтением, используя и летописный рассказ, как доказали акад. А.И. Соболевский и акад. А.А. Шахматов, то мы должны были бы дать ответ на такие вопросы [1]¹⁴. Почему Сказание не отразило ни одного факта и выражения, которые являются продуктом личного творчества преп. Нестора, или взяты им из других источников, помимо летописи? [2.] Почему, имея готовое житие, более полное и близкое к агиографическим образцам, автор анонимного Сказания все же положил в основу своего рассказа летопись, черпая у Нестора лишь отдельные разбросанные в разных местах жития выражения и создавая из них цельную Похвалу (в конце Сказания), при этом ему приходилось разгадывать неясные места своего источника? [3.] Почему на анонимном Сказании о чудесах не отразилось сказание о чудесах преп. Нестора; если же мы предположим, что Сказание о убиении и Сказание о чудесах написаны одним автором, то почему он не принял подробной редакции чуда о жене сухорукой, которую Нестор слышал от самой исцеленной, а передает по другому менее осведомленному источнику? [4.] Почему автор Сказания там, где преп. Нестор не сходится с летописью, обращался к этой последней, а не к Чтению? [5.] Почему, наконец, автор Сказания, если он пользовался Чтением, где Похвала в конце, после Сказания о чудесах, вставил ее в середине произведения выделив Сказание о чудесах в отдельную повесть?” [6. С. 142–143].

Итак, ответим на вопросы С.А. Бугославского по порядку.

1. Первый вопрос, к сожалению, – продукт априорного мнения С.А. Бугославского о первичности Сказ. по отношению к Чтен. Сам исследователь обнаружил немало параллелей между Чтен. и Сказ., которые не имели прообразов в тексте летописи. Ни для одного из них не доказана первичность версии Сказ. Один из параллельных сюжетов, для которого можно доказать обратное, будет разобран ниже.

2. Как известно, Сказ. дошло до нас в значительно большем количестве списков, чем Чтен., следовательно было более востребовано. По меньшей мере странно обвинять в плохой технике бега победителя марафона.

3; 5. Как показал сам С.А. Бугославский, “Сказание чудес” (по крайней мере, его первая часть, в которой Борис и Глеб называются исключительно Романом и Давидом) – независимый от Сказ. памятник, бывший либо источником второй (“чудесной”) части Чтен., либо имевший с ней общий источник¹⁵.

¹⁴ Нумерация вопросов моя. – С.М.

¹⁵ Скорее всего, как полагал еще Макарий (Булгаков), это изначальное “Сказание чудес” было источником Чтен., которое в свою очередь повлияло на более позднюю версию “Сказания чудес” [4. С. 112-113, 125-126].

4. Во-первых, как уже говорилось, С.А. Бугославский выявил, что многие расхождения Чтен. с летописью объясняются тенденциозностью агиографа. Очевидно, что этот факт мог быть выявлен и составителем Сказ. Во-вторых, вопрос С.А. Бугославского не совсем корректен, так как автор Сказ. часто контаминировал разнящиеся по содержанию сведения летописи и Нестора, что будет продемонстрировано ниже.

Итак, вероятно, теория С.А. Бугославского о первичности Сказ. по отношению к Чтен. была основана на его априорном мнении о времени составления Сказ. и Чтен., выведенном из сопоставления “Сказания чудес” со второй частью Чтен.

Таким образом, проблема соотношения Сказ. и Чтен. требует дальнейшего исследования.

Рассмотрим одну интересную особенность, которая имеется во всех основных версиях повествования об убийстве Бориса – своеобразное *раздвоение* убийства¹⁶.

Вот как описывается заключительная часть убийства Бориса в Лавр., судя по всему, достаточно точно отразившей на данном отрезке Нач. св.¹⁷:

1) “и помолвишюся ему · възлеже на одрѣ своем · и се нападоша акы звѣрьє дивии около шатра · и насунуша и копыи · и прободоша Бориса¹⁸

2) и слугу его · падша на нем прободоша с нимь · бѣ бо се любимъ Борисомь · бяше отрокъ съ родомь с(ы)нъ Оугърскъ · именемъ Георги · егоже любляше повелику Борисъ · бѣ бо възложилъ на нь гривну злату велику · в не-иже предъстояше пред нимь · и избиша же и ины отроки Борисовы многы · Георгеви же сему не могуще вборзѣ · сняти гривны съ шиѣ · усѣкнуша главу его · и тако сняша [гривноу · а главою отвергоша проч]¹⁹ и тѣмъже послѣже не обрѣтоша тѣла сего въ трупии ·

3) Бориса же оубивше оканьнии оувертѣвше в шатерь · възложивше на кола повезоша и · и еще дышюще ему · оувѣдѣвше²⁰ же се оканьнии С(вя)тополкъ яко еще дышетъ · посла два Варяга прикончатъ его · онѣма же пришедшема [и видѣвшема]²¹ · яко и еще живъ есть · единъ ею извлекъ мечъ пронъзе и къ срдцю · и тако скончася бл(а)ж(е)нии Борисъ” [13. Стб. 133–134].

В этом фрагменте можно выделить три неравные части: (1) описание ранения Бориса копьями в шатре (22 слова), (2) более подробное описание убийства его слуги Георгия (77 слов) и (3) описание убийства Бориса двумя варягами, спе-

¹⁶ Об этом сюжете уже шла речь в моем докладе (см. [17]).

¹⁷ Рассказ об убийстве Бориса не имеет серьезных различий в древнейших списках ПВЛ и в НовгІмл. Скорее всего, как предположил еще А.А. Шахматов, он примерно в таком же виде читался в Нач. св. [5. С. 30–32 (§§ 15–16)].

¹⁸ Разделение на абзацы и их нумерация арабскими цифрами за круглыми скобками здесь и ниже в тексте источников мои. – С.М.

¹⁹ Слова, помещенные в квадратные скобки, отсутствуют в Лавр. Текст вставлен из Радз. В Ипатьевском списке Ипат.: *гривну ту · а главу отвѣргъше прочь*, в Хлебниковском списке (Хлебн.) Ипат.: *гривну ту · главу отвѣргъше прочь*. В НовгІмл.: *отвергъша главу его прочь* (Комиссионный (Комисс.) список), *отвергъ главу его прочь* (Академический (Акад.) список).

²⁰ В Радз., в Комисс. и Троицк. НовгІмл – *увидѣвъ*. В Ипат. *оувидивше*. В Акад. НовгІмл *увидѣвше*. Толст. НовгІмл *увѣдѣше*.

²¹ Реконструкция А.А. Шахматова [18. С. 171]. В Лавр. слов, помещенных в квадратные скобки, нет, в Радз. и НовгІмл и *видѣша*, в Ипат. и *видившима*, в Хлебн. *видѣше*.

циально посланными Святополком, узнавшим о том, что Борис еще жив (52 слова).

В тексте Чтен. эпизод с добиванием Бориса двумя варягами вроде бы отсутствует, хотя вместо этого имеется мотив добивания “одним из губителей”:

1) “И они же, акы звѣрие дивии, нападоша на нь и внизоша во нь сулицы свои.

2) И се единъ отъ престоющихъ ему слугъ паде на немь, они же и того пронизоша,

3) и мнѣвъ же блаженаго мертва суца, изидоша вонъ.

4) Блаженный же восочи, въ оторопѣ бывъ, изиде изъ шатра

5) и въздѣвъ на небо ругѣ, моляшеса, сице глаголя. *⟨Молитва Бориса.⟩*

6) Се же ему рекшу, единъ отъ губитель, притекъ, удари въ сердце его, и тако блаженный Борисъ предасть душу в ругѣ Божии,

7) мѣсяца июля въ 24 день” [1. С. 11].

В Сказ. аналогичный фрагмент выглядит еще сложнее:

1) «И абие узрѣъ текущихъ къ шатъру блистание оружия и мечное оцѣщение. И без милости прободено бысть чьстьное и многомилостивое тѣло святааго и блаженааго Христова стратотърпыца Бориса: насунуша копии оканьнии Путьша, Тальць, Еловичь, Ляшко.

2) Видѣвъ же, отрокъ его вържеса на тѣло блаженааго, рекый: “Да не остану тебѣ, господине мой драгый, да идеже красота тѣла твоего увядаеть, ту и азъ съподобленъ буду съконьчати животъ свой”. Бяше же съ родъмъ Угринъ, имьнъмъ же Георгий, и бѣаше възложилъ на нь гривну злату, и бѣ любимъ Борисъмъ паче мѣры. И ту же и пронзоша.

3) И яко бысть ураненъ, и искочи и шатъра въ оторопѣ.

4) И начаша глаголати стояще округъ его: “Чьто стоите зряще? Приступивъше, сконьчаимъ повелѣное намъ”.

5) Си слышавъ, блаженный начать молитися и милъ ся имъ дѣяти, глаголя: “Братия моя милая и любимая, мало ми время отдаите, да понѣ помолюся Богу моему”.

6) И възрѣвъ на небо съ слъзами и горѣ въздѣхнувъ, начать молитися сичими глаголы. *⟨Молитва Бориса²².⟩*

7) И възрѣвъ къ нимъ умиленама очима и спадъшемъ лицъмъ, и вьсь слъзами обливъся, рече: “Братие, приступивъше, сконьчайте службу вашу, и буди миръ брату моему и вамъ, братие”. Да елико слышаху словеса его, отъ слъзь не можаху ни словесе рещи, отъ страха же и печали горькы и мьногихъ слъзь; нь съ въздыханиемъ горькымъ жалостьно глаголааху и плакаахуса, и къждо въ души своей стонааше. “Увы намъ, кьняже нашъ милый и драгый и блаженный, водителю слѣпымъ, одеже нагымъ, старости жьзле, казателю ненаказанымъ! Кто уже си вься исправить, како не вьсхотѣ славы мира сего, како не вьсхотѣ веселитися съ чьстьными вельможами, како не вьсхотѣ величия, еже въ житии семь? Кьто не почюдитися великууму съмирению, кьто ли не съмѣрится, оного съмѣрение видя и слыша?”

8) И абие усъпе, предавъ душу свою въ ругѣ Бога жива,

9) мѣсяца июлия въ 24 днь, преже 9 каландъ августа.

²² Содержание молитвы в Сказ. не пересекается с молитвой Бориса в Чтен.

10) Избиша же и отроки многы; съ Георгия же не могуще съняти гривны, и отсѣкъше главу, отъвьргоша и кромѣ, да тѣмъ и послѣдъ не могоша позна-ти тѣла его.

11) Блаженааго же Бориса обьртѣвъше въ шатѣръ, възложивъше на кола, повезоша, – и яко быша на бору, начатъ въскланяти святую главу свою. И се увѣдѣвъ, Святоплѣкъ пославъ два Варяга, и прободоста и мечьмъ въ срьдце, и тако съконьчася» [1. С. 35–37].

Этот текст оказывается длиннее и сложнее по структуре, чем тексты летописи и Чтен.

Сопоставим все приведенные тексты в таблице 3 (цифры в графах обозначают количество слов в каждом из выделяемых отрезков).

Таблица 3

Эпизоды		Нач. св.	Чтен.	Сказ.
№ 1	<i>ранение Бориса копьями</i>	22	15	33
№ 2	ранение слуги (Георгия)	(47+	15	56
№ 3	выход убийц из шатра	–	8	ср. № 5
№ 4	выбегание Бориса из шатра	–	9	ср. № 5
№ 5	выбегание “его” из шатра	–	ср. № 4	10
№ 6	призыв убийц добить Бориса	–	–	13
№ 7	просьба Бориса о молитве	–	–	25
№ 8	молитва Бориса	–	97	177
№ 9	призыв Бориса к убийцам добить его и смиренная речь убийц	–	–	119
№ 10	<i>смерть Бориса</i>	ср. № 13	ср. № 13	10
№ 11	указание даты смерти Бориса	–	ср. № 14	9
№ 12	убийство слуг Бориса, отсечение головы Георгия	+30) ²³	–	27
№ 13	<i>добивание Бориса и его смерть</i>	52	21	36
№ 14	указание даты смерти Бориса	–	5	ср. № 11

Выявленное соотношение рассказов об убийстве Бориса заставляет меня задаться двумя вопросами: (1) почему в перечисленных текстах мы сталкиваемся с несколько раз повторяемым убийством Бориса; (2) почему древнерусские книжники (рассказы которых, очевидно, зависимы друг от друга) так видоизменяли свои источники при описании убиения Бориса.

А.А. Шахматов предположил, что описание добивания Бориса варягами взято “из какой-нибудь легенды” [5. С. 74 (§ 54)]. Исследователь считал, что эпизод с добиванием Бориса варягами отсутствовал в Древн. св., следовательно *раздвоения* убийства не возникало. По мнению ученого, позже на этот текст наложилось местное предание об убиении князя в урочище Дорогожиче между Вышгородом и Киевом, и составителю Нач св. понадобилось вставить в свой рассказ мотив добивания Бориса, чтобы сложить воедино две разные версии убийства [5. С. 74–76 (§ 54)]. Таким образом, по мнению А.А. Шахматова, описание убийства Бориса в Чтен. – один из ярких примеров отражения в этом памятнике более раннего летописного рассказа, чем тот, что дошел до нас.

²³ Описания убийства Георгия и отсечения главы Георгия в летописи представляют из себя единый текст.

Н.Н. Ильин также задался вопросом о происхождении *раздвоения* убийства Бориса. По его мнению, на описание убийства повлияло то, что «в пути “на бору” произошло какое-то замешательство, кортеж приостановился, и наблюдатели издали видели возле покойника, обернутого в шатер, двух варягов с обнаженными мечами» [16. С. 163]²⁴.

К сожалению, все эти соображения не слишком убедительны.

На мой взгляд, решению проблемы *раздвоения* описания убийства Бориса может способствовать изучение истории возникновения источника. К этому вопросу мне уже приходилось обращаться ранее. Этот сюжет дошел до нас не только в древнерусских текстах, но и в повествовании об убийстве конунга Бурислава в древнеисландской “Эймундовой пряди”, где рассказывается, что прежде, чем убить Бурислава, Эймунд со своим побратимом Рагнаром и несколькими исландцами вздернул его шатер на веревке, привязанной к большому дереву, набросив веревку на золотой шар наверху шатра Бурислава. Сюжеты древнерусского и древнеисландского рассказов достаточно несходны, однако каждый из них по-своему близок к сюжету древней скандинавской легенды о гибели свейского конунга Агни, известной по “Саге об Инглингах” Снорри Стурлусона. Согласно этому преданию Агни был повешен на дереве при помощи веревки, привязанной к золотой гривне у него на шее. Близость сюжетов заставляет предположить, что древнерусский и древнеисландский рассказы об убийстве Бориса восходят к одному источнику. Это было повествование, построенное на аллюзии на легенду о гибели Агни. Очевидно, что убийцами Бориса в этом повествовании были названы скандинавы (подробнее см. [19]).

Логичное объяснение *раздвоения* убийства Бориса в свете вышесказанного представляется таким: при первоначальной записи древнерусского рассказа об убийстве Бориса были использованы два основных устных источника, восходящих к первоначальному устному повествованию об убийстве Бориса. В более полном из этих источников уже были потеряны сведения о том, что убийцами Бориса являлись скандинавские наемники²⁵. Вторым источником были слухи о том, что убийцами были два варяга²⁶.

Очевидно, Нестор сильно изменил свой источник из-за желания очистить повествование от излишней конкретики. Сюжет темного летописного повествования, где сначала говорилось о нападении на Бориса (находившегося в шатре) *около* шатра, а затем о повторном убиении Бориса, которого везли с места первого убийства, *одним* из двух варягов²⁷, был превращен в Чтен. в более логич-

²⁴ С другой стороны, Н.Н. Ильин сопоставлял раздвоенное описание гибели Бориса с аналогичным эпизодом в житиях святого Вацлава: “В преданиях о Вячеславе, равно как и в повествовании об убийстве Бориса и Глеба, находим: и ночное совещание братоубийцы с сообщниками, и коварные его предложения своей жертве, и предостережения, которые получал последний от своих доброжелателей; детали обстановки убийства совпадают: ночь, предсмертная заутреня, избивание и ограбление приближенных князя и даже само убийство не сразу, а как бы в два приема; о гибели убийц Вячеслава сообщается почти в тех же выражениях, как о гибели Святополка; чудесные явления, благодаря которым было обретено тело Глеба, таковы же, как знамения, которыми обнаружилось тело бабки Вячеслава, Людмилы” [16. С. 53].

²⁵ На это сказание, вероятно, уже наложилось предание о том, что Бориса убили вышегородцы.

²⁶ Эти слухи, вероятно, основывались на информации о том, что во главе отряда убийц стояли два человека – Эймунд и его побратим Рагнар, о которых рассказывается в “Эймундовой пряди”. Ср. [20. С. 294].

²⁷ В этом повествовании было неясно, откуда Святополк узнал о том, что Борис еще жив.

ный рассказ об убийстве Бориса, выскочившего из шатра после нападения, одним из убийц:

“Бориса же оубивше оканьнии оувертѣвше в шатерь · възложивше на кола повезоша и · и еще дышюцю ему · оувѣдѣвше же се оканьнии С(вя)тополкъ яко еще дышетъ · посла два Варяга прикончатъ его · онѣма же **пришедшема** и видѣвшема · яко и еще живъ есть · **единъ** ею извлекъ мечь пронъзе и къ **срдцю** · и **такo** скончася бл(а)ж(е)ныи **Борисъ**” (Лавр.) [13. Стб. 134].

“Се же ему рекшю, **единъ** отъ губитель, **притекъ**, удари въ **сердце его**, и **такo блаженный Борисъ** предасть душу в рудѣ Божии” (Чтен.) [1. С. 11].

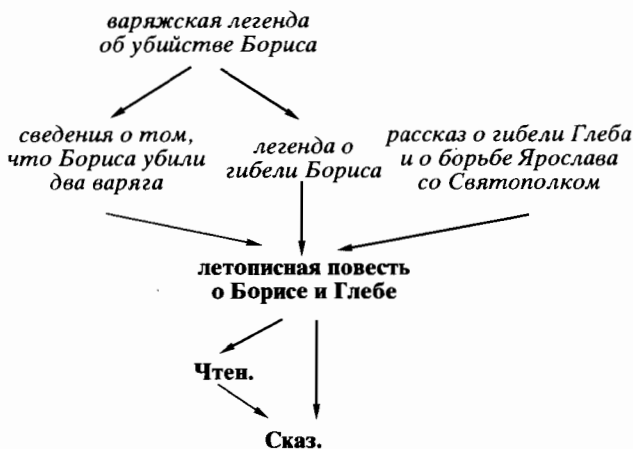
Таким образом Нестор (1) исправил путаницу своего источника с убийством толи в шатре, толи *около* него, (2) исправил путаницу с повторным посыланием убийц и двойным убийством, (3) убрал конкретику, заменив *варягов* на *губителей*.

Автор Сказ., вероятно, имел в своем распоряжении и текст летописи, и Несторова “Чтения”, поэтому в Сказ. мы находим уже не удвоение, а практически утроение убийства: здесь отдельно описано и ранение Бориса в шатре, и смерть около шатра (как в Чтен.), и повторное убийство двумя варягами (как в летописи). Отметим также, что выход Бориса из шатра оказался в Сказ. превращен в выход Георгия – вероятно, эта несостыковка возникла по невнимательности автора Сказ. при контаминации текстов летописи и Чтен. Кроме того, из приведенной выше таблицы видно, что в рассказ о Георгии оказался вклинен большой “риторический” фрагмент. Молитва и сопутствующие сюжеты, заимствованные из Чтен. (где эпизод с Георгием сокращен²⁸), в Сказ. разбили надвое рассказ об убийстве слуги Бориса.

В случае, если автор Чтен. пользовался бы Сказ., возникновение выявленных особенностей было бы необъяснимо.

Подведем итоги. Реконструкция истории текстов борисоглебского цикла представлена в схеме 1.

Схема 1²⁹



²⁸ Отсутствие в Чтен. упоминания золотой гривны еще раз подтверждает вторичность Чтен. по отношению к летописи.

²⁹ На схеме жирные линии обозначают влияние основных источников, тонкие – дополнительных. Курсивом обозначены сказания, бытовавшие в устной форме.

Основным источником всех дошедших до нас текстов об убиении Бориса послужило устное повествование, сложившееся в скандинавски ориентированной среде, окружавшей Ярослава Владимировича, и содержавшее сюжетную аллюзию на древнюю легенду о гибели конунга Агни (подробнее об этом см. [19]).

В ходе становления религиозного почитания Бориса устное повествование о его мученичестве потеряло память прежнего контекста – скандинавской легенды об убийстве Агни. Рассказчики истории гибели Бориса уже не понимали аллюзии, на которой была построена скандинавская легенда. Поэтому в их устах важные мотивы древней повести терялись и видоизменялись. Обстоятельства смерти Бориса переосмыслились под влиянием других (в первую очередь, христианских) параллелей.

Первый русский *письменный* текст о Борисе и Глебе был создан на основании устных рассказов о гибели Бориса, о гибели Глеба и о борьбе Ярослава и Святополка. Автор письменной агиографической легенды использовал и другие данные, в том числе сведения о том, что Борис был убит двумя варягами. Агиографическая легенда либо изначально была частью летописи, либо чуть позже практически в неизменном виде перешла в летописный текст. Летописная повесть о Борисе, Глебе, Святополке и Ярославе дошла до нас в летописях, восходящих к Нач. св. и ПВЛ, практически без изменений в своей фактической части.

Все версии так называемых рассказов о страстях Бориса и Глеба в древнерусских борисоглебских житийных текстах, тесно связанные друг с другом текстуально, восходят к летописной повести.

Нестор, автор “Чтения о житии и о погублении блаженных стратотерпцев Бориса и Глеба”, заимствовал событийную канву летописной повести, однако достаточно вольно изменял данные своего источника для того, чтобы произведение соответствовало агиографическому канону.

“Сказание и страсть и похвала святым мученикам Борису и Глебу” повторило летописные данные значительно ближе к оригиналу, расширив повествование пространными риторическими отступлениями. Различающиеся летописная и Несторова версии описания событий были контаминированы автором “Сказания”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Под ред. Абрамовича Д.И. Пг., 1916.
2. *Бугославський С.* Пам’ятки XI–XVIII вв. про князів Бориса та Гліба (Розвідка та тексти). Київ, 1928.
3. *Revelli G.* Monumenti letterari su Boris e Gleb = Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova, 1993.
4. *Макарий, еп. Винницкий.* История Русской Церкви. СПб., 1857. Т. II.
5. *Шахматов А.А.* Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.
6. *Бугославский С.А.* К вопросу о характере и объеме литературной деятельности преподобного Нестора // Известия отделения русского языка и словесности Императорской академии наук. 1914 г. СПб., 1914. Т. XIX. Кн. 1.
7. *Поппэ А.* О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // *Russia mediaevalis.* München, 1995. Т. VIII, 1.
8. *Соболевский А.* “Память и похвала” св. Владимиру и “Сказание” о свв. Борисе и Глебе (По поводу статьи г. Левитского) // Христианское чтение. СПб., 1890. Ч. 1.
9. *Бугославский С.А.* Текстология Древней Руси. М., 2007. Т. II. Древнерусские литературные произведения о Борисе и Глебе.

10. *Милютенко Н.И.* Святые князья-мученики Борис и Глеб. СПб., 2006.
11. *Ипатьевская летопись* // Полное собрание русских летописей. СПб., 1908. Т. 2.
12. *Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов.* М., 1950.
13. *Лаврентьевская летопись* // Полное собрание русских летописей. Л., 1926. Т. 1. Вып. 1.
14. *Радзивилловская летопись.* СПб.; М., 1983.
15. *Данилевский И.Н.* Повесть временных лет: Герменевтические основы изучения летописных текстов. М., 2004.
16. *Ильин Н.Н.* Летописная статья 6523 года и ее источник. (Опыт анализа.) М., 1957.
17. *Михеев С.М.* Раздвоение убийства Бориса и история борисоглебского цикла // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. М., 2005. № 3 (21).
18. *Шахматов А.А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. I: Вводная часть. Текст. Примечания.
19. *Михеев С.М.* Золотая гривна Бориса и родовое проклятье Инглингов: К проблеме варяжских источников древнерусских текстов // Славяноведение. 2005. № 2.
20. *Никитин А.Л.* Основания русской истории: Мифологемы и факты. М., 2001.



© 2007 г. А. А. ГИППИУС

К ПРОБЛЕМЕ РЕДАКЦИЙ ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ. I

Обсуждение вопросов истории текста Повести временных лет (ПВЛ), с каких бы позиций оно ни велось, неизбежно, как к точке отсчета, возвращается к классической схеме А.А. Шахматова, занимающей в историографии начального русского летописания место, аналогичное тому, какое в истории русского летописания принадлежит самой ПВЛ. Хотя адекватность этой схемы в целом и ее отдельных положений нередко ставились под сомнение или даже отрицались (в результате, как целостное построение, она является сегодня скорее достоянием университетских курсов, чем предметом сколько-нибудь широкого научного консенсуса), шахматовская схема уже без малого столетие сохраняет за собой значение главного ориентира в данной области, роль своего рода “классификатора” научной традиции, по отношению к которому группируются, разбиваясь на русла и потоки, различные исследовательские подходы и гипотезы.

Напомним, что согласно схеме Шахматова, в том виде, в каком она изложена им в книге 1916 г. [1]¹, первая редакция ПВЛ, которой предшествовал киевский Начальный свод 1093–1095 гг., была составлена Нестором в 1111 г. и до нас не дошла. Вторая редакция, составленная Сильвестром в 1116 г., сохранилась в списках лаврентьевской группы (ЛТРА)², но не в первоначальном виде, а со следами вторичного влияния со стороны третьей редакции. Эта последняя была составлена на основе второй редакции в 1118 г. и читается в списках ипатьевской группы (ИХ).

Гиппиус Алексей Алексеевич – д-р филол. наук, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследований ОИФН РАН “Русская культура в контексте мировой истории” (проект “Раннее древнерусское летописание в контексте европейской культурной традиции”).

¹ В дальнейшем цитируется по переизданию в [2].

² Литерами Л, Т, Р, А, И, Х обозначаются шесть полных списков ПВЛ: Лаврентьевский, Троицкий (сгоревший в 1812 г., но частично реконструируемый), Радзивилловский, Московско-Академический, Ипатьевский, Хлебниковский. Списки ЛТРА образуют лаврентьевскую группу, списки ИХ – ипатьевскую; в пределах лаврентьевской группы к общим протографам восходят списки ЛТ и РА. Понятия “лаврентьевский текст” и “ипатьевский текст” употребляются в статье как синонимичные понятиям “общий текст списков лаврентьевской группы” и “общий текст списков ипатьевской группы”. Кроме того, по традиции, общий текст списков ИХ называется нами Ипатьевской летописью, а списков РА – Радзивилловской летописью. Текст, представленный во всех полных списках ПВЛ, мы называем ее “основным текстом”. Тексты летописей цитируются по их последним публикациям в [3].

Хрестоматийность проблематики настоящей статьи избавляет нас от необходимости предварять свой анализ обзором историографии – вместо этого мы обозначим круг положений, от которых в дальнейшем будем отправляться как от исходных, считая их уже доказанными нашими предшественниками.

Первым и наиболее общим из таких положений является взгляд на ПВЛ как гетерогенный по своему происхождению текст, в котором на всем его протяжении наличествуют фрагменты, принадлежащие перу разных авторов. Это представление, сложившееся еще в дошахматовскую эпоху, является в настоящее время общепринятым. Предпринимаемые время от времени попытки вернуться к представлению о создании основного текста ПВЛ одним автором представляются малообоснованными.

Последняя из таких попыток принадлежит В.Н. Русинову [4]. Единственным автором текста ПВЛ за 1051–1117 гг. исследователь считает киево-печерского монаха Василия, упоминающего о себе в статье 6605 г. К этому же выводу полвека назад пришел А. Вайан [5], который, впрочем, пошел еще дальше, отождествив Василия с Сильвестром. Тезис о едином авторе ПВЛ исследователи обосновывают по-разному. А. Вайан, анализируя имеющиеся в тексте прямые и косвенные свидетельства о личности автора, его происхождении, образе мыслей, литературном кругозоре и проч., заключает, что все они вполне могут относиться к одному лицу, каковым классик французской славистики и считает Василия – Сильвестра. Для В.Н. Русинова главным свидетельством авторского единства текста ПВЛ в рассматриваемых хронологических рамках является присутствие в нем комплекса лингво-текстологических признаков, не свойственных привлекаемым для сопоставления памятникам русского летописания XII в. (ремарки от первого лица, обороты типа “до сего дне”, провиденциальное истолкование побед и поражений и т.д.).

Общим в подходе обоих авторов является, к сожалению, пренебрежение текстологическими фактами, не укладывающимися в предлагаемую концепцию. Некорректным является утверждение В.Н. Русинова, будто выводы о сводном происхождении текста ПВЛ за вторую половину XI – начало XII в. “всегда ограничивались лишь самыми общими соображениями, ничего не доказывающими и не объясняющими” [4. С. 122]. Это безусловно не так: помимо общих соображений эти выводы базировались на конкретных текстологических наблюдениях (не будем приводить примеров: речь о них пойдет дальше). Последние могли быть более или менее доказательными – это другой вопрос, который и должен в первую очередь быть предметом рассмотрения. Но просто игнорировать эти наблюдения, противопоставляя им собственную систему аргументов, будто бы свидетельствующую об обратном, – не лучший путь доказательства собственной правоты.

С другой стороны, доказательность лингво-текстологических аргументов В.Н. Русинова вызывает сомнения. Непонятно, почему, например, редкое употребление в киевском или новгородском летописании XII в. авторских ремарок от 1-го лица должно непременно говорить о том, что все такие ремарки, встречающиеся в ПВЛ, принадлежат одному автору. Дополнение или редактирование ранее созданного текста предполагает не только внесение в него черт индивидуального стиля, но и частичное усвоение приемов изложения перерабатываемого оригинала, и в этом смысле ПВЛ как плод коллективного труда, каким она представляется традиционному взгляду, не может не обладать комплексом литературно-языковых характеристик, свойственных только ей и не представ-

ленных или представленных значительно реже у более поздних летописцев, решавших совсем иные литературные задачи в иной литературной среде.

Столь же непонятен и отказ от рассмотрения текста ПВЛ до 1051 г. Нетрудно убедиться в том, что большинство признаков, трактуемых В.Н. Русиновым как приметы одной авторской манеры, не ограничены в своем распространении статьями 1051–1117 гг., но встречаются и в повествовании о древнейшей истории Руси. Спрашивается: готов ли В.Н. Русинов допустить, что все это повествование тоже принадлежит Василию? Если нет, то это противоречит его собственной логике, поскольку неясно, почему одни и те же признаки в одном случае свидетельствуют о работе одного автора, а в другом нет. Если же да, то против такого предположения восстает уже решительно все, что известно о внутренней неоднородности древнейшей части ПВЛ.

Вторым разделяемым нами положением является объяснение текстологической гетерогенности ПВЛ как следствия прошедшего несколько этапов редактирования некоего исходного текста. Иначе говоря, мы разделяем предложенную Шахматовым [6] общую модель, представляющую ПВЛ как систему редакционных “оболочек”, разросшихся вокруг первоначального “ядра”, возникшего не позднее середины XI в.

Альтернативу этой “моноцентрической” модели составляет представление об изначальной множественности летописных традиций XI в., питающих собой Начальную летопись. Свое наиболее последовательное выражение эта точка зрения нашла в книге А.Г. Кузьмина [7]. Сходное понимание процесса начального русского летописания отражают также разыскания С.В. Цыба по хронологии ПВЛ [8]. “Моноцентрическая” модель Начальной летописи представляется априори предпочтительной как более экономное описание процесса начального летописания. С другой стороны, объяснение противоречий текста ПВЛ в рамках развития единого “ствола” древнекиевского летописания лучше согласуется с фактом восхождения к общему “корню” различных региональных летописных традиций XII–XIII вв. (включая и новгородскую, основанную на предшествующем ПВЛ Начальном своде, см. след пункт). Реальных текстологических аргументов, которые бы заставляли предполагать существование нескольких отразившихся в ПВЛ местных летописных сводов, созданных в различных центрах Руси, до сих пор, на наш взгляд, приведено не было. Что же касается реконструкции С.В. Цыба, заключающего о существовании по крайней мере пяти таких сводов на основе анализа одних только “хронологических артефактов” [8. С. 95], то сама возможность стратификации текста ПВЛ на независимом от “традиционной” текстологии хронологическом основании представляется в методологическом отношении сомнительной.

Третьим положением, конкретизирующим второе, является обоснованный Шахматовым тезис, согласно которому ПВЛ как летописному своду 1110-х годов, предшествовал киево-печерский Начальный свод 1090-х годов, частично отразившийся в Новгородской 1 летописи (Н1Л) младшего извода [9].

Подчеркнем, что гипотеза Шахматова о Начальном своде разделяется нами не в целом, а лишь в ее центральных положениях, демонстрирующих первичность по отношению к ПВЛ текста Н1Л с начала до статьи 6523 г., включая Предисловие, обоснованно датируемое Шахматовым 90-ми годами XI в. Изложение нашей позиции в дискуссии по данным вопросам см. в [10].

Четвертым и последним из наших исходных положений является важнейшая поправка к шахматовскому представлению о соотношении ПВЛ и Начального

свода, сделанная М.Х. Алешковским [11; 12]. Эта поправка влечет за собой существенную модификацию построения Шахматова в целом и требует остановиться на ней подробнее.

Согласно Шахматову, первая, не дошедшая до нас редакция ПВЛ была создана Нестором в Киево-Печерском монастыре в княжение Святополка и отражала дружественную этому князю позицию, которую монастырь занимал со второй половины 1090-х годов; вторая же, силвестровская редакция, вышедшая из стен Выдубицкого монастыря, отражала уже промонаховскую тенденцию. Появление второй редакции было, по Шахматову, результатом передачи Мономахом летописания из Киево-Печерского монастыря в княжеский Выдубицкий монастырь и его основательной переработки [2. С. 537–539]. Свидетельством такой переработки Шахматов считал неоднородность текста ПВЛ за конец XI – первое десятилетие XII в., дублировки и противоречия, выдающие присутствие в нем по крайней мере двух слоев. Более ранний из этих слоев исследователь связывал с Нестором и относил к первой редакции ПВЛ, более поздний считал принадлежащим Сильвестру. В рамках этого построения важнейшее датирующее указание ПВЛ – доведение хронологических выкладок в статье 6362 г. “до смерти Святополчи” (16 апреля 1113 г.) – логично относилось ко второй редакции памятника, определяя *terminus ante quem* создания первой редакции.

В то время как наблюдения Шахматова, обличающие двуслойность текста Начальной летописи в названных временных рамках, в значительной мере сохраняют силу и могут быть подкреплены дополнительными аргументами, определение им этих слоев как восходящих к первой и второй редакциям ПВЛ вызывает возражения.

Реконструируя соотношение этих этапов, Шахматов полагал, что главный источник ПВЛ, киевский Начальный свод, заканчивался статьей 1093 г. и что события последующих лет были впервые описаны уже Нестором на страницах ПВЛ в начале 1110-х годов. В этом допущении, предопределившем дальнейшие выкладки Шахматова, сказалась известная однобокость понимания им самого процесса начального летописания. Периодическое обновление летописных сводов, на котором всецело сосредоточился Шахматов, восстанавливая историю ПВЛ, составляет лишь один аспект этого процесса, в котором не меньшая роль принадлежала постепенному накоплению погодных записей, т. е. анналистическому началу. Сопоставление древнерусского летописания с типологически близкой ему средневековой западноевропейской анналистикой показывает, что вновь созданный летописный свод как правило получал продолжение в виде погодной летописи (анналов) (см. [13]). На древнерусском материале это соотношение демонстрирует новгородский свод Мстислава, составленный около 1115 г. и продолженный погодными записями, а также сама ПВЛ с обоими (лаурентьевским и ипатьевским) вариантами ее продолжения. Есть все основания думать, что и Начальный свод конца XI в. не был по завершении его заброшен на полтора десятилетия, но продолжал пополняться погодными записями до того момента, когда на его основе была составлена ПВЛ.

Возможность такого чисто анналистического продолжения Начального свода, не сопровождавшегося переработкой его основного текста, и была впервые по достоинству оценена М.Х. Алешковским, положившим ее в основу своей версии истории текста ПВЛ. Исследователь обратил внимание на то, что с 1091 г. в ПВЛ начинают встречаться датировки с указанием часа события, определенно свидетельствующие о появлении в Киево-Печерском монастыре в это

время регулярно пополняемой погодной летописи. Начало этой летописи, по мысли Алешковского, было положено составлением в 1091 г. летописного свода (по Шахматову – Начального свода 1093 г.). Согласно Алешковскому, именно этот свод с его продолжением в виде погодной летописи был использован новгородским сводом Мстислава 1115 г., отразившимся в НЛЛ, причем не только в младшем ее изводе, но и в древнейшем Синодальном списке, по статью 6623 г. включительно.

По Алешковскому, составителем свода 1091 г. и автором продолживших его погодных записей был Нестор, который окончательно доработал свой текст в 1115 г. Этот текст исследователь называет первой, “авторской” редакцией ПВЛ. В такой атрибуции много спорного. Убежденность Алешковского в авторстве Нестора основывается на малодостоверной поздней традиции. С другой стороны, понятие “авторской” редакции ПВЛ оказывается слишком расплывчатым, раздваиваясь между “авторским” текстом 1091 г. и “авторским” же текстом 1115 г., отношения между которыми остаются непроясненными.

Однако главным в гипотезе Алешковского является все же не эта спорная атрибуция, а сама трактовка текста ПВЛ с начала 1090-х годов по 1115 г. как имеющего в своей основе погодную киево-печерскую летопись, продолжившую летописный свод 1091 г.³ С сохранением шахматовского противопоставления Начального свода и ПВЛ эта идея Алешковского была использована нами в [14] применительно к истории новгородского летописания; в новейшей работе о редакциях ПВЛ ее развивает А. Тимберлейк [15], точка зрения которого на данную проблему нам особенно близка.

Согласно Тимберлейку, более ранний слой статей ПВЛ 1090–1110-х годов (по статье 1112 г.) принадлежит Начальному своду и его анналистическому продолжению, а более поздний – первой (в представлении Тимберлейка – единственной) редакции ПВЛ. Промономаховская тенденция этого второго слоя хорошо согласуется со счетом лет “до смерти Святополчи” в статье 6360 г., что позволяет датировать создание ПВЛ периодом между смертью Святополка в апреле 1113 г. и появлением записи Сильвестра в 1116 г. В этих хронологических рамках датировал первую редакцию ПВЛ и Л. В. Черепнин [16], связавший создание в Киево-Печерском монастыре нового летописного свода с перенесением мощей Бориса и Глеба в 1115 г.

Такая трактовка соотношения текстов представляет собой, на наш взгляд, яркий (и редкий в историографии начального летописания) пример преемственности научных идей, осуществляемой путем критического развития исходной гипотезы и приводящей к непротиворечивому решению проблемы. Опираясь на шахматовское противопоставление Начального свода 1090-х годов и ПВЛ как свода 1110-х годов, она освобождает ядро этой гипотезы от ряда искусственно усложняющих ее допущений, к которым сам Шахматов вынужден был прибегнуть, не учитывая принципиальной двойственности летописного процесса.

Передатировка создания ПВЛ первыми годами княжения в Киеве Владимира Мономаха неизбежно сказывается и на оценке роли Сильвестра в истории текста памятника. С ней, однако, дело обстоит сложнее, чем может показаться.

³ Заметим, что “Печерскую летопись” за этот период упоминал в своих ранних работах и Шахматов, высказываясь, впрочем, довольно неопределенно о характере этого текста и его отношении к Начальному своду [2. С. 89–98; 146–174].

Отнесение к исходному виду ПВЛ черт, которые в рамках гипотезы Шахматова конституировали ее вторую редакцию (т. е. в первую очередь промонаховской тенденции текста), казалось бы, автоматически низводит Сильвестра до роли простого копииста. По мнению Тимберлейка, Сильвестр в 1116 г. только переписал текст ПВЛ, ничего к нему не добавив, кроме собственной записи, и лишь сократив некоторые пассажи.

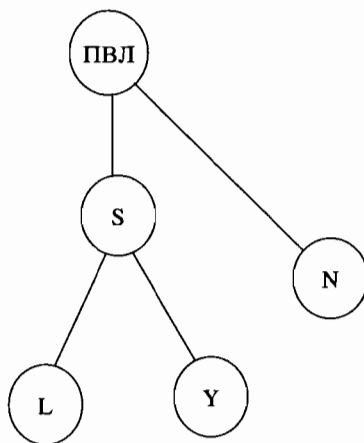
Следует, однако, иметь виду и альтернативную возможность, состоящую в том, что рукопись Сильвестра представляла собой оригинал ПВЛ. Мысль о том, что ПВЛ как свод 1110-х годов является трудом Сильвестра, неоднократно высказывалась в историографии XIX в.; в последние десятилетия сторонником ее выступил А.Г. Кузьмин [7. С. 155–183], предполагающий тождество Сильвестра с “учеником Феодосия”, говорящим о себе в статьях 1051 и 1091 гг. Обсуждавшиеся в литературе содержательные препятствия к тому, чтобы считать Сильвестра составителем и, отчасти, автором ПВЛ (а они, как известно, сводятся к тому что Сильвестр – не “печерянин”), вовсе не являются непреодолимыми: еще Голубинский [17. С. 771] допускал, что выдубицким игуменом Сильвестр мог стать из монахов Киево-Печерского монастыря. Единственный же действительно принципиальный аргумент против авторства Сильвестра, каким в рамках гипотезы Шахматова была все та же двуслойность текста ПВЛ за конец XI – начало XII в., теряет силу с отнесением первого из этих слоев к анналистическому продолжению Начального свода – Печерской летописи. В этой ситуации взгляд на Сильвестра как на составителя ПВЛ оказывается наиболее экономным объяснением, и бремя аргументации ложится на тех, кто желает доказать обратное: что выдубицкий игумен был всего лишь переписчиком чужого труда.

В собственно текстологическом аспекте решение данного вопроса во многом зависит от атрибуции текста Начальной летописи, не входящего в число основных списков ПВЛ. Мы имеем в виду текст Н1Л младшего извода с 6553 по 6582 г. Как и в ее начальной части, до 6524 г., Н1Л на данном участке передает Начальную летопись не в выдержках, а в полном объеме, что дало основание Шахматову предполагать использование в обоих случаях одного источника – киевского Начального свода. Однако, если соотношение текстов в части до 6524 г. позволяет с уверенностью говорить об отражении в Н1Л Начального свода, то в отношении статей 6553–6582 гг. этого сказать нельзя. За исключением рассказа статьи 6559 г. об основании Печерского монастыря текст Н1Л на данном участке полностью включает в себя текст ПВЛ (распространяя его до 6558 г. известиями местного происхождения), и квалификация его источника как Начального свода означала бы, что составитель ПВЛ не внес ничего от себя в описание еще вполне актуальных в его эпоху событий полувековой давности. Это маловероятно, учитывая масштабы его редакторского вмешательства в других частях ПВЛ. С другой стороны, появление данного фрагмента в составе Н1Л было убедительно отнесено М.Х. Алешковским к этапу более позднему, чем тот, на котором в Новгороде (около 1115 г., в своде Мстислава) был использован Начальный свод. Эта редакция была связана нами с составлением архиепископского свода конца 1160-х годов [14. С. 45–48]. Тот факт, что при составлении включенного в этот свод списка киевских князей был использован текст библейского Введения ПВЛ, отсутствовавшего в Начальном своде, позволяет думать, что из ПВЛ был заимствован и текст статей 6553–6582 гг. [14. С. 56]. Как явствует из анализа разночтений, использованный список памятника не мог принадлежать ни к лаврентьевской, ни к ипатьевской группам; при этом он сохранил несколько бесспорно первоначальных чтений, которым соответствуют

вторичные чтения, общие для всех полных списков ПВЛ⁴. Это означает, что источник данного отрезка Н1Л не просто отражал “третью ветвь” списков ПВЛ (ср. [19. С. 29]), но восходил к оригиналу памятника, минуя общий архетип ипатьевской и лаврентьевской групп.

Что же касается рукописи Сильвестра, то в ней, теоретически, можно видеть и оригинал ПВЛ, и восходящий к нему архетип ипатьевской и лаврентьевской групп, и архетип одной лишь лаврентьевской группы. Наиболее вероятной нам представляется вторая возможность. Видеть в Сильвестре автора ПВЛ мешают два уже неоднократно отмечавшихся обстоятельства: общий характер его записи, более напоминающей колофон писца, чем форму манифестации авторства, и явно восходящая к архетипу ипатьевской и лаврентьевской групп атрибуция текста перу “черноризца Федосьева монастыря Печерского”. С другой стороны, видя в Сильвестре писца архетипа лаврентьевской группы (у которой, несомненно, имелся более поздний архетип в виде одного из владимирских летописных сводов второй половины XII в.), необходимо считать, что он списывал не с оригинала ПВЛ, а с некоего успешшего появиться до 1116 г. промежуточного списка, определить статус которого не представляется возможным. Естественнее полагать, что выдубицкий игумен копировал непосредственно оригинал печерского летописного свода, отождествляя его список с архетипом всех шести полных списков ПВЛ. Такое понимание дела отражает схема 1.

Схема 1



ПВЛ – оригинал “Повести временных лет” 1113–1116 гг.; S – список Сильвестра 1116 г.; L – архетип лаврентьевской группы; Y – архетип ипатьевской группы; N – новгородский владычный свод конца 1160-х годов (статьи 6553–6582 гг. Н1Л младшего извода)

⁴ См.: [9. С. 154]. Важнейшее из таких чтений – “и князя их яша Шаракана” под 6576 г. [18. С. 190], чему во всех полных списках ПВЛ соответствует ошибочное “а князя их яша руками”. Не столь очевидное, но тем не менее очень важное разночтение того же типа имеется в “завещании Ярослава” под 6562 г., где в Н1Л читаем: “не преступати брату в предѣль братинь” [18. С. 182], тогда как в других списках ПВЛ: “предѣла братня”. Первоначальность чтения Н1Л подтверждается его большей близостью к формулировке данного положения во Введении ПВЛ, где также представлена форма вин. падежа с предлогом: “въ жребии братень” [3. Т. 1. С. 5]. Поясним, что согласно гипотезе, обосновываемой нами в [10], краткое космографическое Введение, открывавшееся рассказом о сыновьях Ноя, имелось уже в летописном своде 1072 г., было опущено составителем Начального свода и впоследствии, в расширенном виде, восстановлено в ПВЛ.

Легко заметить, что эта схема, из которой мы, как из рабочей гипотезы, будем исходить в дальнейшем анализе, в принципе позволяет видеть в рукописи Сильвестра не простую копию, а особую редакцию ПВЛ. Подчеркнем поэтому, что в отличие от Шахматова, мы не видим текстологической (равно как и исторической) необходимости считать ее таковой⁵. Тем не менее нельзя исключить, что в процессе переписки печерского оригинала ПВЛ Сильвестр все же внес какие-то добавления в текст⁶. Этот элемент неопределенности следует иметь в виду, переходя к центральному в проблематике настоящей статьи вопросу: существовала ли “третья редакция” ПВЛ?

Суть гипотезы Шахматова о третьей редакции ПВЛ заключается в утверждении, что эпоха начального древнерусского летописания, т. е. период активного становления текста ПВЛ, не закончилась в 1116 г. с появлением рукописи Сильвестра, но продолжилась до 1118 г., когда “сильвестровский” текст ПВЛ подвергся новой переработке. Эта редакция, по Шахматову, непосредственно отразилась в летописях ипатьевской группы, а частично, вследствие вторичного взаимодействия между редакциями, – также и в лаврентьевской группе списков.

Представляя собой, по Шахматову, последнюю из древнекиевских “оболочек”, заключающих в себе многослойный текст Начальной летописи, редакция 1118 г. оказывается тем самым и первой проблемой, с которой сталкивается исследователь, начинающий разбирать шахматовское построение “с конца”, в порядке, обратном хронологическому. Можно сказать, что именно здесь проходит водораздел, отделяющий историю сложения текста ПВЛ от истории его бытования в рукописной традиции. Проблема “третьей редакции” ПВЛ – это, по существу, проблема соотношения ее лаврентьевского и ипатьевского текстов.

Как и концепция Шахматова в целом, данное ее звено было неоднозначно воспринято последующей историографией. В зависимости от принятия или непринятия основного тезиса об отражении в Ипатьевской летописи “постильвестровской” редакции 1118 г., высказанные мнения разбиваются на два русла.

Одно из них, образуемое голосами сторонников этого тезиса, внутренне неоднородно, разделяясь на несколько потоков. Первый составляют выска-

⁵ Для Шахматова основанием предполагать значительную переработку Сильвестром первой редакции были, помимо уже упоминавшейся двуслойности текста ПВЛ за конец XI – начало XII в., сведения Киево-Печерского патерика, в которых Шахматов видел отражение несохранившегося текста Нестора. Необоснованность такой трактовки данных Патерика убедительно продемонстрирована В.Н. Русиновым [20].

⁶ Подозревать в таком происхождении можно, например, известие статьи 6604 г. о сожжении половцами княжеского двора на Выдубичах, вклинившееся в патетическое завершение рассказа о нападении половцев на Печерский монастырь: “...и ина словеса хулная гла(гла)ху на с(вя)ты иконы, насмехающеса, не вѣдуще, яко Б(ог)ъ кажесть рабы своя напастми ратными, да явятся яко злато искушено в горну: х(ре)с(т)ьяномъ бо многыми скорбми и напастми внити в ц(ѣ)с(а)рство н(е)б(е)сное, а симъ поганым и ругателем на семъ свѣтѣ приимши веселье и просторонство, а на ономъ свѣтѣ примуть м(у)ку, с дьяволом оуготовани огню вѣчному. Тогда же зажгоша дворъ красныи, егоже поставилъ бл(а)говѣрныи князь Всеволодъ на холму нарѣцаемъ Выдобычи, то все оканнии Половци запалиша огнемъ. Тѣмже и мы послѣдующе пр(о)р(о)ку Д(а)в(ы)ду вопьемъ: Г(осподи), Б(ож)е мои! положи [я], яко коло, яко огонь пред лицомъ вѣтру, иже поपालяет дубравы, тако по жениши я бурю твою, исполни лица ихъ дасаженья. Се бо оскверниша и пожгоша с(вя)тыи дом твой и монастырь М(а)т(е)ре твоя и трупъ рабъ твоихъ” [3. Т. 1. С. 233–234].

звания исследователей, принимающих шахматовскую гипотезу о “третьей редакции” в единстве составляющих ее основных положений. Такое “ортодоксальное” развитие гипотеза А.А. Шахматова получила в трудах М.Д. Приселкова [21: С. 80–84], Д.С. Лихачева [22. С. 125] и Л.В. Черепнина [16. С. 318–321].

“Неортодоксальное” усвоение шахматовской гипотезы представлено в работах Б.А. Рыбакова [23] и М.Х. Алешковского [12], принимающих идею “постильвестровской” редакции со следующей принципиальной поправкой: утверждается, что к этой редакции полностью восходит не только ипатьевский, но и лаврентьевский текст ПВЛ, при этом последний трактуется как простое сокращение “полного” ипатьевского текста. Поскольку при таком подходе “постильвестровским” может быть признано любое известие ПВЛ, общий объем изменений, внесенных в текст ПВЛ на данном этапе, оказывается в изображении обоих исследователей во много раз большим, чем в исходной гипотезе А.А. Шахматова. Неудивительно, что в понимании того, в чем конкретно заключалась и какие цели преследовала эта редакция, Б.А. Рыбаков и М.Х. Алешковский диаметрально разошлись. В колоритном изображении Рыбакова заказчик редакции Мстислав Владимирович предстает как безжалостный разрушитель первоначального текста Нестора, вымарывавший из него целые пласты, проводя “грубую и навязчивую новгородско-варяжскую тенденцию”. «Мстислав не уничтожил Нестора, но искалечил его; он поступил с его “Повестью” так, как поступали крестоносцы в завоеванном Константинополе с языческими статуями» [23. С. 299]. М.Х. Алешковский, напротив, рисует привлекательный образ “редактора Василия” – любознательного путешественника и начитанного книжника, придавшего ПВЛ известный нам вид, значительно распространив текст первой, Несторовой редакции.

Расширенное понимание Рыбаковым и Алешковским третьей редакции ПВЛ (Алешковский называет ее просто “редакторским текстом” и датирует 1119 г.), развивая, казалось бы, шахматовскую гипотезу, по существу лишает ее главной текстологической опоры. О существовании редакции 1118 г. Шахматов заключил в первую очередь на основании различий между лаврентьевским и ипатьевским текстом. Взгляд на лаврентьевский текст как результат сокращения ипатьевского, обесценивает эти наблюдения. Парадоксальным образом, чем больший объем текста ПВЛ относится исследователями к “третьей редакции”, тем меньше остается реальных оснований считать, что такая редакция действительно существовала.

Особое преломление идея “постильвестровской” обработки ПВЛ нашла в работе А.Г. Кузьмина [7]. Признавая возможным существование редакции 1118 г., исследователь полагал, что формирование текста ПВЛ на этом не закончилось, но продолжалось еще несколько десятилетий. В общем для всех списков тексте ПВЛ А.Г. Кузьмин различал известия, записанные уже после смерти Владимира Мономаха (умершего в 1125 г.), в 1130-х годов при Мстиславе и еще позже, при Ярополке Владимировиче и Изяславе Мстиславиче. Однако, как неоднократно отмечалось (см., например, [24. С. 22–24]), подобные атрибуции основываются в работе А.Г. Кузьмина исключительно на общих соображениях о возможной связи той или иной группы известий с тем или иным князем, реальных же свидетельств переработки общего для ипатьевского и лаврентьевского “изводов” текста ПВЛ после 1118 г. им приведено не бы-

ло⁷. Методологически несостоятельной нужно признать и попытку А.Л. Никитина [25. С. 358] обосновать наличие в основном тексте ПВЛ фрагментов, включенных в нее в летописных сводах второй половины и конца XII в., вплоть до Киевского свода 1198/1199 г.⁸

Если только что охарактеризованная точка зрения занимает, так сказать, крайне “левое” положение на шкале рецепции шахматовской гипотезы о третьей редакции ПВЛ, то представителями “правого”, консервативного крыла научного сообщества в оценке этой гипотезы выступают скептики, не принимающие данного звена построения Шахматова как текстологически не доказанного и, следовательно, излишнего. По их мнению, реальных оснований говорить о переработке текста ПВЛ после 1116 г. нет.

Свое наиболее последовательное выражение данное направление нашло в известной работе Л. Мюллера [26; 27]. Последовательно разобрав доводы Шахматова в пользу существования третьей редакции ПВЛ, Л. Мюллер признал все их несостоятельными и предложил альтернативную шахматовской, значительно более простую стемму, в которой третья редакция ПВЛ отсутствует, а ипатьевская и лаврентьевская группы представляют собой полностью независимые друг от друга ветви традиции, восходящие к общему архетипу и через него – к рукописи Сильвестра 1116 г.

Каких-либо текстологических возражений на аргументацию Л. Мюллера после появления его работы, насколько мне известно, не последовало. Более того, недавно точка зрения немецкого ученого была поддержана О.В. Твороговым [28] и, независимо от него, А. Тимберлейком [15. С. 198–199]. В.Н. Русинов [4. С. 146], хотя и считает ипатьевский текст ПВЛ отражающим ее более позднюю, по сравнению с “лаврентьевской”, редакцию, видит в этой редакции всего лишь продолжение автором ПВЛ своего труда, прерванного на описании событий 1110 г. Таким образом, на сегодняшний день баланс мнений исследователей, специально занимающихся вопросами текстологии начального киевского летописания, складывается определенно не в пользу шахматовской гипотезы о третьей редакции ПВЛ. В этих условиях всякое продолжение разговора об этой редакции предполагает в качестве необходимого условия разбор аргументов, выдвинутых против данной гипотезы.

Начнем с того, что в критике этой гипотезы представляется справедливым. Реконструируя третью редакцию ПВЛ, Шахматов исходил из того, что первая и вторая редакции заканчивались статьей 6618 г., до начала известного рассужде-

⁷ Единственный пример, который при желании мог бы быть истолкован таким образом, при ближайшем рассмотрении оказывается мнимым. А.Г. Кузьмин обратил внимание на то, что панегирик Владимиру Мономаху в статье 6605 г. выдержан в формах прошедшего времени, перекликаясь с некрологом в статье 6633 г., и заключил на этом основании, что не только панегирик, но и все повествование об ослеплении Василька Теребовльского, в которое он входит, было вставлено в летопись уже после 1125 г. [7. С. 79–80]. Дело, однако, в том, что текст панегирика цитируется Кузьминым по Лаврентьевской летописи; между тем в Ипатьевской вместо начального “Володимиръ бо такъ бяше любезнивъ” [3. Т. 1. С. 265] читается “Володимиръ же такъ есть любезнивъ” [3. Т. 2. С. 238], что прямо свидетельствует о создании текста при жизни Мономаха.

⁸ Доказательством этого служит для А.Л. Никитина то обстоятельство, что ряд встречающихся в ПВЛ “вводных синтагм” вроде хронологических формул “въ то же лѣто” и им подобных, прослеживаются в Ипатьевской летописи до 1170–1180-х годов, после чего исчезают. Почему это должно свидетельствовать о редактировании в эти годы текста ПВЛ, совершенно непонятно.

ния об ангелах, фрагмент которого читается в списках лаврентьевской группы перед записью Сильвестра. Наличие в списках ипатьевской группы продолжения этого рассуждения и текста статей 6619 и последующих годов само по себе воспринималось Шахматовым как свидетельство существования “еще одной древней редакции” ПВЛ. При этом начало рассуждения об ангелах в списках второй редакции Шахматов вынужден был объяснять вторичным влиянием со стороны третьей редакции [3. С. 529].

Вслед за В.М. Истриным [29. С. 247] Л. Мюллер отметил крайнюю уязвимость этого положения Шахматова. С одной стороны, “не очень вероятно, чтобы летописец оборвал изложение пятью годами ранее момента завершения своего труда” [27. С. 166]. С другой стороны, незавершенность рассуждения об ангелах в списках, содержащих приписку Сильвестра, естественно объяснять тем, что “конец ПВЛ был утрачен в общем протографе списков Л, Р, А; приписка Сильвестра могла находиться на обложке книги или на первом листе, следующем после пропуска в тексте... Не только возможно, но и в высшей степени вероятно, что редакция Сильвестра, не останавливаясь на внезапном конце списков Л, Р, А, была продолжена вплоть до 1115 г. или 1116 г.” [27. С. 166–167]. Присоединяясь к этой точке зрения, заметим, что она косвенным образом подтверждается показаниями Н1Л. Последняя, как мы считаем вслед за М.Х. Алешковским, имеет в своей основе Начальный свод с его анналистическим продолжением. Данные лингвотекстологического анализа Синодального списка Н1Л позволяют считать последним известием, заимствованным из этого источника, запись о смерти Святослава под 6622 (1114) г. [30. С. 208–209] Поскольку это известие читается и в ПВЛ, оно должно восходить к ее оригиналу, основанному на том же источнике, что и Н1Л. Этот оригинал, следовательно, не заканчивался на статье 6618 г.

Вторым аргументом Шахматова в пользу существования третьей редакции ПВЛ и основанием для датировки этой редакции 1118 г. была отмеченная ученым смена стиля в Ипатьевской летописи после 1117 (6625) г. “Начиная со следующего 6626 г. видим в списках Ипатьевском, Хлебниковском иные приемы летописания: изложение становится сухим и кратким; под 6626–6630 гг. находим незначительные по объему статьи, составленные из сжатых и отрывочных известий” [2. С. 530]. Л. Мюллер не признает этого аргумента, считая смену стиля недоказанной. А. Тимберлейк [15. С. 200] заметил, что смена стиля, если и имеет место, не обязательно свидетельствует о составлении новой редакции – она может обуславливаться сменой летописца, перерывом в ведении летописи и т.д.

Соглашаясь с последним утверждением, мы склонны тем не менее считать статью 6625 г. важным рубежом в Ипатьевской летописи. И дело не столько в смене стиля, сколько в специфической композиции статьи, включающей известия о событиях сразу нескольких лет. Приведем окончание статьи 6625 г. вместе с двумя последующими статьями:

[В лѣто 6625] ... В се же лѣто потрясеся земля семтября въ двадесять шестыи. Того же лѣта въведе Глѣба из Мѣньска Володимеръ и ц(е)рк(о)въ положи на Лытѣ мученику. Володимеръ же посла с(ы)на Романа во Володимеръ княжить. Того же лѣта оумре куръ Олексии и взя ц(ѣ)са(р)ство с(ы)нъ его Иванъ.

В лѣто 6626. Выбѣже Ярославъ С(вя)тополчичъ из Володимера Оугры, и бояре его и отступиша от него. Оу се же лѣто преставися Романъ Володимер-

ричь генваря въ шестыи, и посла Володимеръ другаго с(ы)на Андрѣя оу Володимеръ княжить.

В лѣто 6627. Володимеръ взя Менескъ оу Глѣба оу Всеславича, самого приведе Киеву. Томъ же лѣтѣ преставися Глѣбъ в Киевѣ Всеславичъ семтября въ 13 [3. Т. 2. С. 285].

Император Алексей Комнин умер 15 августа 1118 г., и включение известия о его смерти в статью 6625 г. является несомненным анахронизмом. Развивая это наблюдение Шахматова, М.Х. Алешковский заметил, что к 1118 г. относится и сообщение о вокняжении Романа во Владимире, а вывод Владимиром Глеба из Минска имел место и вовсе в 1119 г. Присутствие записей за 1118 и 1119 г. в статье 6625 г. исследователь объясняет тем, что эта статья была написана ретроспективно в 1119 г. Статья же 6626 г., в которой, как считает Алешковский, информация о вокняжении Романа дублируется, была, по мысли исследователя, составлена киевским летописцем в то время, когда в его распоряжении еще не было “редакторского” текста 1119 г. с припиской к статье 1117 г. о вокняжении Романа (см. [12. С. 111–112]).

Последнее утверждение основано на недоразумении: в статье 6626 г. говорится не о вокняжении Романа, а о его смерти, таким образом дублировка между данной статьей и статьей 6625 г. отсутствует. В расположении известий о Романае имеется между тем очевидное противоречие: сообщение о его вокняжении во Владимире читается в конце статьи 6625 г., тогда как известие о предшествовавшем этому событию бегстве из Владимира Ярослава Святополчича открывает статью 6626 г. Важно и другое: известие о вокняжении Романа, вводимое с помощью частицы *же*, предполагающей смену субъекта действия, синтаксически не стыкуется с предшествующим сообщением, в котором действующим лицом также является Владимир Мономах. Данное обстоятельство не прошло мимо внимания Шахматова, сделавшего к этому месту примечание: “Перед Володимеръ же, по-видимому, опущено известие, касавшееся Ярослава Святополчича, ср. Воскр. под 6626 г., Л. (Сузд.) под 6627 г.” [2. С. 936]. Текст Воскресенской летописи, на которую ссылается Шахматов, действительно проясняет ситуацию. Приведем его, выделив текст, отсутствующий в Ипатьевской летописи курсивом:

(6625) ...В се же лѣто потрясея земля септеврия 16.

В лѣто 6626. *Ярославецъ Святополчичъ отсла от себе жену свою, дщерь Мстиславлю, внуку Володимерю. Володимеръ же слышавъ се и совокупивоя поиде на нь; и выбѣже Ярославъ Святополчич из Володимеря в Угры, и бояре его отступиша от него. Володимеръ же посла въ Володимеръ сына своего Романа, он же преставися ту того же лѣта генуаря 6. И посла к ним Володимеръ другаго сына своего Андрѣя.*

В лѣто 6627. Преставися царь Греческий Алексии, и по нем прея царство сынъ его Иоанъ. А Володимеръ того же лѣта взя Менескъ у Глѣба Всеславича, а самого приведе къ Киеву. Онъ же ту и преставися септября 13 [3. Т. 7. С. 24].

Аутентичность изложения владимирского эпизода в Воскресенской летописи не вызывает сомнений и текстологически объяснима. Тот же текст читается и Московском летописном своде XV в. [3. Т. 31. С. 28], а также в Ермолинской летописи [3. Т. 23. С. 29–30], общим протографом которых был Московский летописный свод 1479 г. Среди источников последнего была южнорусская летопись, близкая к Ипатьевской, но не тождественная ей (см. [31. С. 263–266; 32.

С. 152–153]). К ней, очевидно, и восходит более исправный, чем в Ипатьевской летописи, текст рассматриваемых статей⁹.

Однако объяснить соотношение текстов одним лишь пропуском в Ипатьевской летописи, как это сделал Шахматов, не получается: остается непонятным, как непосредственное продолжение пропущенного фрагмента могло оказаться в Ипат. в начале статьи 6626 г. Остается предположить, что известие о вокняжении Романа во Владимире вместе с продолжавшей его записью о смерти императора Алексея было в протографе Ипатьевской летописи каким-то образом вырвано из контекста статьи 6626 г., в которой оно читалось в общем источнике этого протографа и свода 1479 г., и переписано вместе с окончанием статьи 6625 г., тогда как предшествующий ему текст оказался пропущен¹⁰.

Столь нетривиальная ошибка переписчика могла, как представляется, произойти только в одном случае: если в оригинале, с которого списывал писец, расположение статей 6625 и 6626 г. было кодикологически аномальным, а именно, если две статьи были записаны одна под другой в два столбца, таким образом, что начало второго столбца статьи 6626 г. (он должен был начинаться словами “Володимеръ же посъла сына Романа...”) зрительно сливалось с окончанием статьи 6625 г., точнее, с припиской к этой статье, сообщающей о низложении Владимиром Глеба и строительстве церкви на Альте (первоначально статья заканчивалась, очевидно, известием о землетрясении 26 сентября). Такое аномальное расположение текста было возможно, если статья 6625 г. создавалась как заключительная: в таком случае, как это часто делалось, окончание текста могло быть записано в два столбца одинаковой высоты, не достигавшие конца страницы. Запись о низложении Глеба могла быть изолированной припиской, сделанной в продолжении второго столбца. Когда же летопись получила продолжение, открывавшую его статью 6626 г. естественно было, как и предыдущую, записать в два столбца на оставшейся свободной части страницы. В результате фразы “Володимеръ же посла сына Романа...”, начало которой –

⁹ Этого не признает Т. Вилкул [33. С. 31], замечая: “в Воскресенской летописи и Московском летописном своде конца XV в. – компиляция, восходящая к Ипат., Н1Л и Лавр.”. Можно согласиться с тем, что датировка 6627 г. известия о смерти императора Алексея отражает использование источника типа Лавр, – такой источник у свода 1479 г. действительно был. При чем здесь Н1Л, вообще не упоминающая этих событий, – непонятно. Очевидно также, что из названных источников невозможно было извлечь сведений об обстоятельствах, предшествовавших бегству Ярослава Святополчица из Владимира. Можно, конечно, отнести эти сведения за счет творчества составителей “поздних сводов”, что всегда готова допустить Т.Л. Вилкул; но никаких оснований для этого текст не дает. Ср., напротив, яркую параллель, которую указанная в Воскресенской летописи причина конфликта находит в новгородской берестяной грамоте № 705 (кон. XII в.). Автор грамоты, Домажир, предлагает адресату, Якову, в случае, если тому “не угодна” его жена (сестра автора), отослать ее обратно к родственникам (“оче е тебе не годена, а попроводи ко мене сестру” [34. С. 402]).

¹⁰ В свою очередь составитель свода 1479 г. отступил от своего южнорусского источника, перенеся (возможно, ориентируясь на источник типа Лавр.) под 6627 г. известие о смерти императора Алексея. Исходный же текст статьи 6626 г. предположительно реконструируется в следующем виде. “*В лѣто 6626. Ярославъцъ Святополчиъ отъсла отъ себе жену свою, дъщерь Мъстиславлю, вьнуку Володимерю. Володимеръ же слышавъ се и съвъкупи воя, поиде на нь; и выбѣже Ярославъ Святопѣлчиъ из Володимера Оугры, и бояре его отъступиша от него. Володимеръ же посъла сына Романа вь Володимеръ княжитъ. Того же лѣта умре куръ Олексии, и възя ц(с)ръство сынъ его Иванъ. Вь се же лѣто прѣставися Романъ Володимеричъ генваря вь шестыи, и посъла Володимеръ другаго сына Андрѣя вь Володимеръ княжитъ”.

что весьма показательна – приходится почти точно на середину реконструируемого текста статьи (см. выше прим. 10), могла оказаться в начале ее второго столбца.

Эта кодикологическая реконструкция, разумеется, – не более чем догадка, однако факты, на которых она основывается, не могут игнорироваться при обсуждении рассматриваемой проблемы. Вопреки критикам Шахматова, мы можем утверждать, что между статьями 6625 и 6626 гг. в Ипатьевской летописи пролегает ощутимый рубеж, который не может быть объяснен одной только сменой летописца или перерывом в ведении летописи. Фиксируемый на этом рубеже сбой в изложении, хотя сам по себе и не доказывает существования редакции 1118 г., хорошо согласуется с этим предположением.

Ключевая роль в обосновании Шахматовым гипотезы о третьей редакции ПВЛ принадлежит двум пассажам в статьях 6604 (1096) и 6622 (1114) гг., в которых летописец, говоря от первого лица, сообщает о чудесных явлениях, наблюдавшихся в северных землях, и сопровождает свидетельства очевидцев собственным комментарием, основанным на литературных источниках: “Откровении Мефодия Патарского” в первом случае и Хронографе во втором. В статье 1096 г. упоминается разговор с новгородцем Гюрятой Роговичем, состоявшийся “преже сихъ 4-ми лѣтъ”¹¹, то есть, очевидно, за четыре года до момента работы летописца. В статье 1114 г. летописец, в связи со строительством в этом году крепости в Ладоге, упоминает о своей поездке в Ладогу и пересказывает слышанные им от ладожан удивительные истории.

Выстраивая свою гипотезу, Шахматов исходит из того, что:

- 1) оба фрагмента принадлежат перу одного летописца;
- 2) поездка летописца в Ладогу имела место в 1114 г.;
- 3) разговор летописца с Гюрятой Роговичем произошел в том же 1114 г.

Отсюда логически вытекает датировка работы летописца 1118 г., отделенным от 1114 г. теми самыми четырьмя годами, о которых рассказчик упоминает, передавая разговор с Гюрятой под 1096 г. С другой стороны, Шахматов сопоставляет ладожские мотивы статьи 1114 г. с читаемой в Ипатьевской летописи версией рассказа о Рюрике, согласно которой Рюрик сначала садится княжить в Ладоге и лишь затем основывает Новгород, и заключает, что данная версия сюжета также появилась в третьей редакции ПВЛ и что источником информации летописца послужили рассказы, слышанные им в Ладоге в 1114 г.

Это построение, безусловно, – одно из наиболее изящных в историографии начального киевского летописания. Тем не менее, по мнению Л. Мюллера, разделяемому О.В. Твороговым, А. Тимберлейком, В.Н. Русиновым и другими авторами, проводимые Шахматовым связи являются мнимыми и ничего не доказывают. Л. Мюллер обращает внимание на следующее:

- 1) “ладожская” версия рассказа о призвании князей читается не только в списках ипатьевской группы, но также в Радзивилловской и Московско-Акаде-

¹¹ Именно так, на наш взгляд, следует раскрывать сокращенную запись “пре^ж си^х. ѿ. лѣ^т” в Лаврентьевской летописи. Часто встречающееся в литературе прочтение “преже сихъ четырехъ лѣтъ”, опирающееся на чтение Ипатьевского (ѿ. хъ лѣтъ) и, особенно, Хлебниковского (ѿ. хъ лѣтъ), синтаксически бессмысленно. Параллель к предлагаемому нами чтению этого места представляет начало Сказания о Борисе и Глебе: “Се оубо бысть *мальмь* преже сихъ” [35. С. 43], т.е. ‘незадолго до настоящего времени’.

мической летописях, восходящих к общему с Лавр. архетипу; поэтому, считает Мюллер, текстологическая первичность этой версии вне всякого сомнения;

2) рассказ Гюряты, помещенный под 1096 г., читается во всех списках ПВЛ. Предположение Шахматова о проникновении этого рассказа в списки лаврентьевской группы путем вторичного влияния со стороны третьей редакции делает его построение “сложным до абсурда и неправдоподобным до невозможно” [27. С. 172];

3) статья 1114 г., которую Шахматов считал (как и весь текст после 1110 г.) появившейся лишь в третьей редакции, вероятнее всего, читалась уже в рукописи Сильвестра; с другой стороны, нет никаких оснований считать, что записанные под этим годом рассказы ладожан автор слышал именно в 1114 г. Связь между ними и помещенным под этим годом сообщением о строительстве крепости в Ладоге, является, считает Мюллер, “чисто ассоциативной” [27. С. 170];

4) ничто не заставляет считать, что рассказ Гюряты, слышанный автором “четырьмя летами прежде сих” был услышан автором на севере в том же 1114 г. вместе с историями ладожан.

Может показаться, что выстроенная Шахматовым конструкция рассыпается от этих контраргументов как карточный домик, обнаруживая свою полную несостоятельность. В действительности это не так.

Начнем с “ладожской” версии рассказа о Рюрике, которую Л. Мюллер уверенно считает первоначальной: как по текстологическим соображениям, так и в силу ее большего исторического правдоподобия.

Утверждая, что “текстологически ладожский вариант стоит вне всяких сомнений”, исследователь исходит из представления об ипатьевской (ИХ) и лаврентьевской (ЛТРА) группах списков как двух совершенно независимых друг от друга ветвях рукописной традиции ПВЛ. В соответствии с таким взглядом (который Л. Мюллер разделяет с С.А. Бугославским [36] и Д. Островским [37. Р. XXXIX]), чтение Лаврентьевской летописи, противопоставленное общему чтению Ипатьевской (ИХ) и Радзивиловской (РА) летописей, автоматически признается вторичным. Претендуя на объективность и текстологическую строгость, такой подход, между тем, как мы показываем в специальной работе [38. С. 73–87], вступает в противоречие с материалом: имеется множество случаев, в которых индивидуальное (в пределах основных списков ПВЛ) чтение Лавр. подтверждается сопоставлением с использованными в ПВЛ источниками (Хроникой Георгия Амартола, Златоустом и др.), обнаруживается в НЛ (генеалогически не связанной с Лавр.) или же в силу других причин может быть признано первоначальным. Объясняется это тем, что текст ПВЛ в Радзивиловской летописи является контаминированным и на значительном протяжении восходит к архетипу, общему не с Лаврентьевской и Троицкой, а с Ипатьевской летописью. В этих случаях общие чтения Лавр. и Тр. (а при отсутствии текста Тр. – индивидуальные чтения Лавр.) оказываются текстологически равноправными с общими чтениями Радз. и Ипат. летописей¹². К числу таких “ипатьевских фрагментов” Радзивиловской летописи относится и статья 862 г. Это лишает “ладожскую” версию текстологического приоритета, уравнивая ее в правах с версией Лаврентьевской летописи.

¹² О контаминированном характере текста ПВЛ в Радзивиловской летописи пишет в своей рецензии на книгу Л. Мюллера [39] и А.В. Назаренко [40]. В недавней работе Л. Мюллер, согласившись с критикой рецензентов, соответствующим образом модифицирует свою стемму [41].

В Лавр., как известно, название города, в котором сначала садится княжить Рюрик, пропущено, здесь читается: “и придоша, старѣишии Рюрикъ, а другии Синеусъ...”; такой же пропуск имелся и в Троицкой летописи, где слова “сѣде Новгородѣ” были, согласно свидетельству Карамзина, вставлены позднее [42. С. 58]. Л. Мюллер полагает, что пропущенным в протографе Лавр. и Тр. было название Ладоги: «Не предполагаемый составитель гипотетической редакции 1118 г. изменил “Новгород” на “Ладога”, но писец общего протографа рукописей Л и Т (t) пропустил упоминание Ладоги в летописной статье 862 г. Очевидно, ему казалось странным, что Рюрик сначала сидел в не имевшей в его (писца) время значения Ладоге; может быть, он хотел удостовериться и поэтому оставил в рукописи пропуск» [27. С. 174]. С таким объяснением можно было бы согласиться, если бы все различие между версиями РАИХ и ЛТ заключалось в отсутствии в последней названия первой резиденции Рюрика. Между тем в ней отсутствует и упоминание об уходе Рюрика к Ильмену и основании им Новгорода, из чего следует, что в Лавр. излагается не “ладожский”, а “новгородский” вариант сюжета, тот же, что и в Н1Л младшего извода. Поскольку непосредственная генеалогическая связь между ЛТ и Н1Л отсутствует, данное совпадение может быть объяснено только путем признания “новгородской” версии первоначальной. Очевидно, как и предполагал Шахматов, эта версия была унаследована ПВЛ от Начального свода 1090-х годов (текст которого отражает Н1Л), тогда как “ладожская” версия представляет собой результат редактуры, произведенной в протографе ипатьевской группы списков и, вследствие контактированного характера Радзивилловской летописи, отраженной также ею.

Что же касается содержательной убедительности “ладожского” варианта, то и с ней дело обстоит далеко не так просто, как полагает Л. Мюллер. Историческая достоверность – малонадежное подспорье в определении относительной древности вариантов письменного предания об отдаленном прошлом. В конкуренции двух вариантов рассказа о Рюрике Л. Мюллер видит отражение исторического соперничества Ладоги и Новгорода: коль скоро верх в этом состязании одерживает Новгород, “новгородский” вариант, по мысли исследователя, должен был прийти на смену “ладожскому”, а не наоборот. Очевидно, однако, что ко времени, к которому – даже при самой смелой датировке ее началом XI в. – может быть отнесена первая письменная фиксация рассматриваемого сюжета, соперничество Новгорода и Ладоги давно уже разрешилось в пользу первого; с другой стороны, память о пребывании Рюрика в Ладоге безусловно могла и в начале XII в. сохраняться в местном историческом предании, а именно оно, согласно Шахматову, отразилось в Ипатьевской летописи. Представляется, что совершенно прав М. Б. Свердлов [43], видящий в “новгородской” и “ладожской” версиях сюжета не конкурирующие идеологемы, а сосуществовавшие на Руси в XI – начале XII в. разные формы памяти о Рюрике: обобщенной, отливающейся в фольклорных стереотипах, и более конкретной и исторически достоверной. С этой точки зрения замена “новгородской” версии рассказа о Рюрике на “ладожскую” в ипатьевском тексте ПВЛ выглядит вполне закономерной, отражая изменение в характере самой исторической традиции, развивающейся в направлении все большей конкретизации.

От рассказа о Рюрике обратимся к ладожскому сюжету в статье 1114 г. Как считает Л. Мюллер (в чем с ним согласны О.В. Творогов и А. Тимберлейк), помещение рассказов ладожан под 1114 г. ничего не говорит о дате поездки летописца в Ладогу. “Свой рассказ о Ладоге он (летописец – А.Г.) ведет в данном ме-

сте, исходя, очевидно, не из соображений хронологии, но чисто ассоциативно... Самое важное состоит в том, что летописец был в Ладого, а не в том, когда был: об этом он не говорит нам ничего, и этого мы не знаем” [27. С. 170]. Позволим себе с этим не согласиться. Отсутствие специального указания на время получения информации (фраза “пришедшу ми в Ладугу, повѣдаша ми ладожане...” непосредственно следует за известием о строительстве ладожской крепости) контрастирует с наличием такового в статье 1096 г., в которой время рассказа Гюряты действительно не совпадает с датой, под которой этот рассказ помещен. Логика построения связного текста с обязательностью требует при смене временного плана повествования какого-то контекстного расширения, указывающего на новый временной план. Если бы летописец действительно хотел рассказать о поездке, никак не связанной с событием 1114 г. и имевшей место до него, он построил бы текст иначе (что-то вроде “бывшу ми единою в Ладозѣ...”). Важно и то, что в конце рассказа автор призывает в свидетели “всех ладожан” во главе с посадником Павлом, названным выше в сообщении о строительстве крепости. Все это дает основание согласиться с Шахматовым: в Ладугу летописец действительно ездил в 1114 г. Тем самым остается в силе и следующее совпадение: время рассказа отделяют от рубежного в тексте Ипатьевской летописи 1117 г. те самые четыре года, упоминание о которых вводит рассказ Гюряты под 1096 г.

Считая ладожский рассказ статьи 1114 г. появившимся в редакции 1118 г., Шахматов, как мы помним, относил к этой редакции весь текст ПВЛ, начиная с отсутствующего в Лаврентьевской летописи окончания статьи 6618 (1110) г. Выше мы согласились с В.М. Истриным и Л. Мюллером в том, что статьи 1111–1115 г. должны были читаться уже в списке Сильвестра 1116 г. Если так, то ладожские фрагменты статьи 1114 г. должны представлять собой редакторские добавления к первоначальному тексту, аналогичные по происхождению кратким сообщениям Ипатьевской летописи, дополнительным по отношению к лаврентьевскому тексту ПВЛ. Круг таких сообщений очерчен А. А. Шахматовым [2. С. 552, прим. 2] и включает следующие записи:

1. 6584(1076) – рождение Мстислава Владимировича;
2. 6594(1086) – закладка Всеволодом церкви св. Андрея и основание при ней монастыря, в котором постриглась дочь Всеволода Янка;
3. 6595(1087) – поход Всеволода к Перемышлю;
4. 6606(1098) – закладка Владимиром Мономахом церкви св. Богородицы в Переяславле;
5. 6606(1098) – закладка Владимиром Мономахом города на Остре;
6. 6607(1099) – небесное знамение над Владимиром Волынским;
7. 6609(1101) – закладка Владимиром епископской церкви в Смоленске;
8. 6610(1102) – рождение Андрея Владимировича;
9. 6610(1102) – кончина Владислава;
10. 6613(1105) – падение верха церкви св. Андрея;
11. 6613 (1105) – явление кометы на западе;
12. 6613 (1105) – нападение Боняка на Зарубе на торков и берендеев;
13. 6614(1106) – подробности о походе на половцев;
14. 6614(1106) – затмение солнца;
15. 6615(1107) – землетрясение;
16. 6617(1109) – подробности о походе на Дон против половцев;
17. 6618(1110) – нападение половцев на Переяславскую область.

За исключением известия о смерти Владислава под 6610 г., возможно, случайно пропущенного в протографе лаврентьевской группы (в Ипат. оно заключено между двумя формулами “въ се же лѣто”), Шахматов считает эту группу сообщений добавлениями третьей редакции ПВЛ, отмечая, что значительная часть их связана с Владимиром Мономахом. Л. Мюллер по непонятной причине обходит данный вопрос молчанием. В целом разделяющий его точку зрения О.В. Творогов в данном случае занимает компромиссную позицию: ввиду тематической близости большинства указанных известий он соглашается признать их добавлениями протографа ипатьевской группы, отсутствовавшими в рукописи Сильвестра, однако замечает при этом: “Создается впечатление, что дополнения эти – целиком или по большей части – глоссы на полях, впоследствии внесенные в текст. Но их характер не позволяет, как думается, говорить о новой редакции текста” [28. С. 207].

Важное значение для уяснения природы данной группы сообщений имеет запись под 1106 г. о солнечном затмении: “того же лѣта помраченье быс(ть) въ с(о)лнци августа” [3. Т. 2. С. 258]. О том, что эта запись является вставкой, свидетельствует нарушение ею хронологического порядка изложения событий в статье (24 июня – 6 декабря – “август” – 16 февраля). С другой стороны, можно понять, почему вставка была сделана именно в этом месте: в Лаврентьевской летописи его занимает запись: “в то же лѣто прибѣже Избыгнѣвъ к С(вя)тополку” [3. Т.1. С. 281]. Известие о затмении, следовательно, не могло возникнуть как глосса на полях: оно явно вытеснило первоначальное сообщение при переписке текста.

Обращает на себя внимание, что большинство (12 из 15) ипатьевских “дополнений”¹³ сосредоточены в тринадцатилетнем промежутке с 6606 по 6618 г. Поскольку верхняя граница этого интервала совпадает с обрывом текста в списках лаврентьевской группы, мы вправе предполагать (считая этот обрыв следствием утраты листов в протографе группы), что аналогичные дополнения (“глоссы”, по О.В. Творогову) имеются и в последующих статьях Ипатьевской летописи, где их, однако, сложно отличить от основного текста. В одном случае, впрочем, такая возможность имеется.

А.Г. Кузьмин обратил внимание на следы присутствия нескольких разновременных слоев в следующем фрагменте статей 6621 и 6622 г.:

“[6621] Того же лѣта посади (речь идет о Владимире Мономахе. – А.Г.) с(ы)на своего С(вя)тослава в Переяславлѣ, а Вячслава у Смоленскѣ. В се же лѣто преставися игуменья Лазорева монастыря, с(вя)та житъемь, м(ѣ)с(я)ца сентября въ 4 на десять д(е)нь, живши лѣтъ шестьдесятъ в чернечествѣ, а от роженъя девяносто лѣтъ и два. В се же лѣто поя Володимеръ за с(ы)на своего Романа Володаревну м(ѣ)с(я)ца сентября въ 1 на десять день. В се же лѣто Мьстиславъ заложил ц(е)рк(о)вь камяну с(вя)т(о)го Николы на княжѣ дворѣ оу торговища Новѣгородѣ. Того же лѣта посади с(ы)на своего Ярополка в Перея-

¹³ Помимо известия о смерти Владислава, мы не включаем в число этих дополнений запись о землетрясении под 6615 г. В отличие от остальных известий данной группы, она имеется в Радзивиловском и Московско-Академическом списках, а также в Н1Л, что дает основание возводить эту запись к анналистическому продолжению Начального свода и предполагать пропуск в Лаврентьевской летописи.

славлѣ. Томъ же лѣтѣ поставиша еп(и)с(ко)па Данила Гургеву, а Бѣлугороду Никиту.

В лѣт(о) 6622. Преставися С(вя)тославъ с(ы)нъ Володимеръ м(ѣ)с(я)ца марта 16 д(е)нь и положенъ быс(ть) во Переяславлѣ оу ц(е)ркви с(вя)т(о)го Михаила, ту бо о(те)ць ему далъ столъ выведы и и-Смоленска” [З. Т. 2. С. 276–277].

А.Г. Кузьмин отмечает в этом тексте два противоречия. Во-первых, известие о направлении Ярополка на княжение в Переяславль предшествует сообщению о смерти Святослава, место которого в Переяславле и занял Ярополк¹⁴. Во-вторых, отсутствие подлежащего во фразе “Того же лѣта посади с(ы)на своего Ярополка Переяславлѣ” заставляет понимать текст таким образом, что это Мстислав (о котором идет речь в предыдущей фразе) направил своего сына (!) Ярополка в Переяславль, хотя сделал это, естественно, Владимир Мономах. А.Г. Кузьмин заключает на этом основании, что как известие о Ярополке, так и известие о Мстиславе являются вставками, причем вставка о Ярополке хронологически предшествовала вставке о Мстиславе, разорвавшей связный рассказ о действиях Мономаха. Выделяя в тексте три слоя, исследователь полагает, что “основной текст говорит о том, что вскоре по вокняжении в Киеве Владимир посадил Святослава в Переяславле, а в Смоленск вместо Святослава направил Вячеслава” [7. С. 75]. Выделенные вставки трактуются как отражающие соответственно “проярополковскую” редакцию, относимую Кузьминым к 1120-м годам, и “промстиславовскую”, датируемую еще более поздним временем и связываемую с деятельностью сыновей Мстислава Изяслава и Ростислава.

Справедливой в этом рассуждении представляется квалификация двух известных как вставок и определение относительной последовательности этих вставок. В остальном же согласиться с Кузьминым невозможно. Каких-либо весо- мых текстологических оснований для предлагаемой поздней датировки обеих вставок исследователь не приводит, и мы не видим ничего, что бы заставляло в атрибуции трех слоев данного фрагмента выходить за пределы первого десятилетия XII в.

В уточнении нуждается и стратификация текста. Образующими его наиболее древний пласт следует, на наш взгляд, признать политически нейтральные сообщения о смерти игумении Лазарева монастыря, поставлении епископов (6621) и смерти Святослава в Переяславле (6622). В рамках развиваемой нами схемы этот слой может быть отождествлен с анналистическим продолжением Начального свода. Косвенным подтверждением такой атрибуции может служить тот факт, что в основанный на этом источнике новгородский свод 1115 г., отразившийся в НЛ, из рассматриваемого отрывка вошло лишь известие о смерти Святослава.

Примечательно, что сообщение о смерти Святослава содержит ретроспективное упоминание о переводе его Владимиром в Переяславль из Смоленска. Оно было бы излишним, если бы к моменту записи известия данная информа-

¹⁴ В.А. Кучкин [44. С. 58–59], полагая, что последовательность событий действительно была такой, какой ее описывает летопись, подводит под нее рационалистическое объяснение: Мономах перевел Ярополка в Переяславль, “зная о неизлечимой болезни Святослава”. Не понятно, однако, почему это знание не помешало Мономаху ранее в том же году посадить в Переяславле самого Святослава.

ция содержалась в тексте несколькими строками выше, под 6621 г. Это позволяет признать известия о мероприятиях Владимира Мономаха в 1113 г., которые Кузьмин считает первоначальными, относящимися к тому же слою текста, что и вставное известие о Ярополке; последнее тем самым перестает быть выразителем особой “проярополковой” тенденции, включаясь в ряд однотипных сообщений о перераспределении Мономахом княжеских столов между своими сыновьями. Этот слой текста ничто не мешает отождествлять с появившимся в первые годы княжения Мономаха оригиналом ПВЛ. Обстоятельством, существенным для датировки этого этапа, является присутствие среди вставок известия о переводе Ярополка в Переяславль, последовавшем, очевидно, за смертью Святослава в марте 6622 (1114 г.). Хронологические рамки создания ПВЛ таким образом сужаются до 1114–1116 гг., все теснее сжимаясь вокруг датировки, предложенной Л. В. Черепниным, – 1115 г.

Что же касается известия о строительстве Мстиславом церкви Николы в Новгороде, то оно оказывается одной из тех вставок, существование которых на данном отрезке ПВЛ мы предположили выше. Есть все основания считать эту запись имеющей то же происхождение, что и дополнительные по отношению к лаврентьевскому тексту известия Ипатьевской летописи за конец XI – начало XII в.

Показательно, что вставное происхождение обнаруживает сообщение о деятельности Мстислава Владимировича, с фигурой которого Шахматов связывает появление третьей редакции ПВЛ. Следует полагать, что такими же вставками являются и известия о двух строительных предприятиях Мстислава в статье 6622 г.: “В се же лѣто Мьстиславъ заложи Новъгородъ болии перваго. В се же лѣто заложена бысть Ладога камениемъ на приспѣ Павломъ посадникомъ, при князѣ Мьстиславѣ” [З. Т. 2. С. 277]. К такому заключению подталкивает и точное совпадение начальных фраз известий 1113 и 1114 гг. (“В се же лѣто Мьстиславъ заложи...”), а также то, что все три известия демонстрируют одинаковое и редкое для Киева знакомство с топографией Новгорода и Ладоги (“на князѣ дворѣ у Торговища”, “болии перваго”, “на приспѣ”). Но если вставкой является сообщение о закладке ладожской крепости в 1114 г., то и продолжающий его рассказ о чудесных явлениях на севере, записанный со слов ладожан, тем более должен иметь вставное происхождение. Именно это мы и предположили выше.

Важно, что, в отличие от кратких известий о строительных акциях Мстислава, которые можно было бы – в духе О.В. Творогова – трактовать как глоссы на полях протографа ипатьевской группы, пространный рассказ о чудесных явлениях в Ладоге такого объяснения не допускает: появиться на страницах летописи он не мог иначе, как в результате составления новой ее редакции. Гипотеза Шахматова о существовании “еще одной древней редакции” ПВЛ, созданной около 1118 г. и наиболее полно отразившейся в Ипатьевской летописи, получает таким образом сильнейшее подтверждение.

Еще раз подчеркнем отличие развиваемого нами понимания этой редакции от шахматовского: мы считаем, что лежавший в ее основе текст ПВЛ не заканчивался 6618 (1110) г., но был доведен до времени работы Сильвестра; соответственно, дополнения к нему на всем протяжении летописи (за исключением, возможно, статей 6624 и 6625 гг., целиком появившихся в этой редакции) носили характер исправлений и вставок в уже существующий текст.

При таком понимании дела намного более убедительное звучание приобретает и предположение Шахматова [2. С. 553] о создании редакции 1118 г. в кругах, близких к Мстиславу Владимировичу. У самого Шахматова обоснование этого тезиса строится на косвенных исторических аргументах, главный из которых – совпадение предполагаемого времени составления третьей редакции с переводом Мстислава из Новгорода на юг (в Белгород) в 1117 г.; текстуальные же свидетельства причастности Мстислава к составлению редакции 1118 г. ограничиваются ссылкой на известия о нем в статьях 6621–6624 гг. Ипатьевской летописи. Однако, как замечает О.В. Творогов [28. С. 205], “подобными сообщениями о деятельности других князей усеяна летопись, и видеть в этой краткой информации след особого внимания к Мстиславу не приходится”. Данное возражение до сих пор было оправданным постольку, поскольку обсуждаемые известия текстологически не выделялись на фоне окружающих их записей. Теперь же, когда мы знаем, что сообщения о Мстиславе в статьях 6621 и 6622 г. представляют собой вставки в первоначальный текст этих статей, специальный интерес редактора к старшему сыну Мономаха и его деятельности на севере становится очевиден. На этом фоне особое значение приобретает тот факт, что поток дополнительных ипатьевских известий открывает запись о рождении Мстислава Владимировича под 6584 г.¹⁵

Итак, и “ладожская” версия рассказа о Рюрике, и ладожские фрагменты статьи 1114 г., в полном соответствии с гипотезой Шахматова и вопреки возражениям его оппонентов, обнаруживают свою непервоначальность в составе ПВЛ. Их есть все основания относить к тому же текстовому пласту, что и краткие дополнительные известия Ипатьевской летописи, отождествляя этот пласт с “постсилвестровской” редакцией, создание которой Шахматов относит к 1118 г.

Эта датировка, на наш взгляд, нуждается в уточнении. У Шахматова, напомним, она основывается на следующем совпадении: отсчет четырех лет от 1114 г. приводит к 1118 г., к которому относится завершающее рубежную статью 6625 г. известие о смерти императора Алексея (1118 г.). Однако в своей реконструкции текста ПВЛ Шахматов трактует известие о смерти Алексея как позднейшую приписку к статье 6625 г. [2. С. 936]. Выше мы пришли к выводу, что первоначально эта статья сообщала только о событиях 1117 г., а сбой хронологии в Ипатьевской летописи вызван проходившим здесь кодикологическим рубежом, отделявшим завершавшийся данной статьей текст летописного свода от его продолжения в виде погодной летописи. С другой стороны, использование

¹⁵ Для Шахматова значение этого факта было, по-видимому, нейтрализовано тем обстоятельством, что к третьей редакции ПВЛ ученый возводил также известие статьи 6558 г. о рождении Святополка, читаемое только в Синодальном списке Н1Л и плохо вяжущееся с предполагаемым составлением этой редакции в окружении Мстислава Владимировича [2. С. 775]. Разделяемый нами тезис Алешковского, согласно которому Синодальный список Н1Л отражает на данном участке свод Мстислава, использовавший киевский Начальный свод 1090-х годов, снимает это противоречие и ставит все на свои места: присутствие записи о рождении Святополка выглядит столь же естественным в созданном при его жизни Начальном своде, как и исключение ее из составленной после смерти Святополка ПВЛ. Запись же о рождении Мстислава оказывается первым из отдельных известий за XI в., отражающих “постсилвестровскую” редакцию, и как нельзя лучше характеризует тенденцию этой редактур. Заметим, что О. В. Творогов, основываясь, видимо, на шахматовской реконструкции, ошибочно относит известие о рождении Святополка к числу “дополнений” Ипатьевской летописи [28. С. 206].

более свойственного ПВЛ “включающего” счета лет дает при отсчете четырех лет от 1114 г. не 1118 г., а 1117 г. Именно этим годом следует, как представляется, датировать “постсилвестровскую” редакцию¹⁶.

Признав, вслед за Шахматовым, существование этой редакции и отнеся к ней, среди прочего, рассказ Гюряты и комментариев к нему летописца под 6604 (1096) г., мы должны наконец объяснить, каким образом данный пассаж попал в Лаврентьевскую летопись (присутствие его в Радзивилловской летописи проблемы не составляет, так как может объясняться – и, по-видимому, действительно объясняется (см. [38. С. 109–110]) – уже упоминавшейся контаминацией). Этот факт легко объясним в рамках схемы Рыбакова и Алешковского, видевших в Лаврентьевской летописи простое сокращение “редакторского” текста ПВЛ, в полном виде отраженного Ипатьевской. Но данное объяснение для нас неприемлемо: как и Шахматов, отражение “постсилвестровской” редакции мы видим главным образом в специфических известиях ипатьевской группы; рассказ Гюряты в этом отношении стоит особняком. Сам Шахматов объясняет появление его в Лаврентьевской летописи “вторичным влиянием третьей редакции на вторую”, и именно это объяснение, по уже цитировавшейся формулировке Л. Мюллера, делает его построение “сложным до абсурда и неправдоподобным до невозможного”.

Насколько оправдана эта убийственная характеристика? Думается, что она является таковой лишь с точки зрения стеммы, с регулярностью кристаллической решетки исключаяющей всякие формы перекрестного взаимодействия между ветвями рукописной традиции. Между тем, само по себе предположение о частичном обмене информацией между этими ветвями не содержит ничего “абсурдного” и “невозможного”. Важно только понять, где, когда и в какой форме происходило это взаимодействие.

Представляется, что обсуждение данного вопроса в терминах взаимодействия редакций создает несколько искаженное представление о предмете. Противопоставление понятий редакции и списка имеет смысл там, где на фоне механического тиражирования текста в списках появляются новые его переработки, которые и принято называть редакциями. Предполагать активное копирование ПВЛ в первые годы и даже десятилетия после ее появления нет, как кажется, никаких оснований. Восстанавливая историю текста, естественно исходить из минимального количества древних экземпляров, достаточного для объяснения соотношения сохранившихся вариантов. Изложенные выше соображения заставляют предполагать существование трех таких экземпляров. Это: 1) киево-печерский оригинал ПВЛ, созданный в 1113–1116 гг., 2) списанный с него экземпляр Сильвестра 1116 г. – архетип всех полных списков ПВЛ, и 3) созданный в 1117 г. на основе списка Сильвестра экземпляр, к которому восходит ипатьевская группа списков. О.В. Творогов находит, что перевод Мстислава из Новгорода в Белгород в 1117 г. – недостаточное основание для создания новой

¹⁶ М.Х. Алешковский, также используя включающий счет, датирует “редакторский” текст ПВЛ 1119 г., полагая что поездка летописца в Ладогу имела место не в 1114 г., а в 1116 г., под которым сообщение о строительстве ладожской крепости читается в НІЛ. Однако простое соображение, что в Новгороде лучше, чем в Киеве, знали даты местных событий, в данном случае не действует, поскольку здесь именно киевская ПВЛ содержит свидетельство очевидца (летописец сам был в Ладоге и присутствовал при строительстве крепости), тогда как НІЛ, по-видимому, использует киевский летописный источник (см. [30. С. 208–209]). К тому же хронология НІЛ в начале XII в. вообще отличается сбивчивостью [45. С. 220–224].

редакции ПВЛ [27. С. 205]. Но никто, возможно, и не ставил задачи создавать новую редакцию – переведенный из Новгорода Мстислав мог просто пожелать иметь свой экземпляр новой киевской летописи. Со стороны инициатора составления новгородского летописного свода такое желание кажется более чем естественным.

То, что Шахматов называл третьей редакцией ПВЛ, и есть, в нашем представлении, этот “княжеский” или “Мстиславов” экземпляр, созданный на основе выдубицкого экземпляра в 1117 г. и вобравший в себя ряд дополнительных известий и уточнений, включая “ладожскую” версию рассказа о Рюрике и записанные со слов новгородцев и ладожан рассказы о чудесных явлениях на севере, вместе с комментариями к ним.

Появление на страницах княжеской летописи такого яркого литературного материала, как эти рассказы и комментарии, могло вызвать у владельца выдубицкого экземпляра желание пополнить этим материалом собственную летопись. Нужно ли было для этого заново переписывать весь кодекс? Очевидно, нет. Достаточно было лишь переписать нужные фрагменты на отдельных листах и вставить их в соответствующие места кодекса, или же – что требовало несколько больших усилий – заменить одну или несколько тетрадей в конце рукописи на новые, содержащие отредактированный текст, – и “обновление” кодекса было произведено.

“Вторичное влияние третьей редакции на вторую” представляется нам как именно такое “обновление” выдубицкого экземпляра, в результате которого рукопись Сильвестра, сохранив основной состав тетрадей, включила важнейшие из дополнений созданного в 1117 г. княжеского экземпляра ПВЛ. Поскольку 1 января 1118 г. Сильвестр был поставлен переяславским епископом, можно думать, что он редактировал свою рукопись по горячим следам появления княжеского экземпляра, в последние месяцы 1117 г.

Резонно спросить, однако: а правомерно ли предполагать в качестве протографа лаврентьевской группы такой кодикологически неоднородный список? Считаю, что такое допущение является не только необходимым, но и вполне правомочным. Более того, как раз обратное, то есть представление реконструируемых этапов истории текста в виде “стерильных” рукописей со стопроцентно регулярной кодикологической структурой, без приписок на полях, вставных листов и прочих модификаций первоначального текста, вступает в противоречие с картиной, представляемой реально сохранившимися летописными памятниками, и неминуемо влечет за собой искусственное усложнение реконструкции. Достаточно вспомнить, что сама Лаврентьевская летопись обладает очень своеобразной кодикологической структурой, включая несколько вставных листов, написанных особым почерком (см. [48]), а древнейший из дошедших до нас списков русских летописей – Синодальный список Н1Л – и вовсе представляет собой конволют из нескольких разновременных частей, с приплетенными в конце дополнительными листами. Текстологические соображения заставляют предполагать наличие разновременных частей, вставных листов и тетрадей и в протографе Н1Л – новгородском владычном своде (см. [14. С. 14, 67]). Важный сопоставительный материал представляет в данном отношении западноевропейская традиция, располагающая, в отличие от русской, целым рядом древних летописных памятников, дошедших в оригиналах. Образцы таких “живых летописей” как правило представляют собой кодексы сложной структуры, с заме-

ненными и добавленными листами и тетрадями, дополнениями на полях и т.д. (см. [13. С. 181–183]).

На этом фоне предполагаемая кодикологическая нерегулярность рукописи Сильвестра после ее “обновления” на основе редакции 1117 г., выглядит скорее правилом, чем исключением. Как мы увидим в дальнейшем¹⁷, это предположение позволяет объяснить некоторые особенности структуры как всей лаврентьевской группы списков, так и самой Лаврентьевской летописи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Шахматов А.А.* Повесть временных лет. Пг., 1916. Т. 1.
2. *Шахматов А.А.* История русского летописания. СПб., 2003. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 2. Раннее русское летописание XI–XII вв.
3. Полное собрание русских летописей. СПб., Пг., М. 1841–.
4. *Русинов В.Н.* Летописные статьи 1051–1117 гг. в связи с проблемой авторства и редакций “Повести временных лет” // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия История. 2003. Вып. 1(2).
5. *Vaillant A.* La chronique de Kiev et son Auteur // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. Београд, 1954. Књ 20.
6. *Шахматов А.А.* История русского летописания. СПб, 2002. Т. 1. Повесть временных лет и древнейшие русские летописные своды. Кн. 1. Разыскания о древнейших русских летописных сводах.
7. *Кузьмин А.Г.* Начальные этапы древнерусского летописания. М., 1977.
8. *Цыб С.В.* Древнерусское времяисчисление в “Повести временных лет”. Барнаул, 1995.
9. *Шахматов А.А.* Киевский Начальный свод 1095 года // А. А. Шахматов. 1864–1920. Сборник статей и материалов. М.; Л., 1947.
10. *Гиппиус А.А.* Два начала Начальной летописи: К истории композиции Повести временных лет // Вереница литер. Сборник к 60-летию В. М. Живова. М., 2006.
11. *Алеиковский М.Х.* Первая редакция Повести временных лет // Археографический ежегодник за 1969 г. М., 1969.
12. *Алеиковский М.Х.* Повесть временных лет. Судьба литературного произведения в древней Руси. М., 1971.
13. *Гимон Т.В., Гиппиус А.А.* Русское летописание в свете типологических параллелей // Жанры и формы в письменной культуре Средневековья. М. 2005.
14. *Гиппиус А.А.* К истории сложения текста Новгородской первой летописи // Новгородский исторический сборник. Вып. 6[16]. СПб., 1997.
15. *Timberlake A.* Redactions of the Primary Chronicle // Русский язык в научном освещении. 2000. № 1.
16. *Черепнин Л.В.* “Повесть временных лет”: ее редакции и предшествующие ей летописные своды // Исторические записки. 1948. Т. 25.
17. *Голубинский Е.Е.* История русской церкви. М., 1901. Т. 1. Период киевский или домонгольский. Первая половина тома.
18. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.; Л., 1950.
19. *Вилкул Т.* Новгородская первая летопись и Начальный Свод // Palaeoslavica, 2003. Vol. 11.
20. *Русинов В.Н.* Послание инока Поликарпа к игумену Акиндину и его источники // Проблемы происхождения и бытования памятников древнерусской письменности и литературы. Н. Новгород, 1997.
21. *Приселков М.Д.* История русского летописания XI–XV вв. СПб., 1996.
22. *Лихачев Д.С.* Повесть временных лет: Историко-литературный очерк // Повесть временных лет. М.; Л., 1950. Ч. 2.
23. *Рыбаков Б.А.* Древняя Русь: Сказания, былины, летописи. М., 1963.
24. *Лурье Я.С.* О возможности и необходимости при исследовании летописей // ТОДРЛ. 1981. Т. 37.
25. *Никитин А.Л.* Основания русской истории: Мифологемы и факты. М., 2001.

¹⁷ Продолжение статьи предполагается опубликовать в одном из ближайших номеров журнала.

26. Müller L. Die "dritte Redaktion" der sogenannten Nestorchronik // Festschrift für Margarete Woltner zum 70. Geburtstag. Heidelberg, 1967.
27. Мюллер Л. Понять Россию: историко-культурные исследования. М., 2000.
28. Творогов О.В. Существовала ли третья редакция "Повести временных лет"? // In memoriam: Сборник памяти Я.С. Лурье. СПб., 1997.
29. Истрин В.М. Замечания о начале русского летописания: по поводу исследований А.А. Шахматова в области древнерусской летописи // Известия ОРЯС. 1924. Т. 24.
30. Гиппиус А.А. Новгородская владычная летопись XII–XIV вв. и ее авторы: история и структура текста в лингвистическом освещении // Лингвистическое источниковедение и история русского языка. 2005. М., 2006.
31. Насонов А.Н. История русского летописания XI – начала XVIII в.: Очерки и исследования. М., 1969.
32. Лурье Я.С. Общерусские летописи XIV–XV вв. М., 1976.
33. Вилкул Т. О происхождении общего текста Ипатьевской и Лаврентьевской летописи за XII в. // Palaeoslavica, 2005. Vol. 12.
34. Зализняк А.А. Древненовгородский диалект. М., 1995
35. Успенский сборник XII–XIII в. М., 1971.
36. Бугославский С.А. "Повесть временных лет": списки, редакции, первоначальный текст // Старинная русская повесть. Статьи и исследования. М.; Л., 1941.
37. The Povest' vremennykh let: An Interlinear Collation and Paradosis / Ed. By Donald Ostrowski. [Harvard, 2003]. Vol. 1.
38. Гиппиус А.А. О критике текста и новом переводе-реконструкции Повести временных лет // Russian Linguistics. 26 (2002).
39. Die Nestorchronik: die altrussische Chronik, zugeschrieben dem Mönch des Kiever Höhlenklosters Nestor, in der Redaktion des Abtes Sil' vestr aus dem Jahre 1116, rekonstruiert nach den Handschriften Lavrent'evskaja, Radzivilovskaja, Akademičeskaja, Troickaja, Ipat'evskaja und Chlebnikovskaja, ins Deutsche übersetzt von Ludolf Müller (= Forum Slavicum, Bd. 56), München., 2001.
40. Назаренко А.В. Новый труд известного слависта: к выходу в свет немецкого перевода Повести временных лет Л. Мюллера // Славяноведение. 2002. № 2.
41. Мюллер Л. К критике текста, тексту и переводу Повести временных лет // Russian Linguistics. 2006. Vol. 30.
42. Приселков М.Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. СПб., 2002.
43. Свердлов М.Б. Историческая память и историческая действительность в сказании о трех братьях-варягах // Восточная Европа в древности и средневековье. Историческая память и формы ее воплощения. XII Чтения памяти В.Т. Пашуто. Москва, 18–20 апреля 2000. Материалы конференции. М., 2000.
44. Кучкин В.А. Чудо св. Пантелеймона и семейные дела Владимира Мономаха // Средние века и раннее Новое время. Сборник статей к 60-летию Л.В. Милова. М., 1999.
45. Бережков Н.Г. Хронология древнерусского летописания. М., 1963.
46. Прохоров Г.М. Кодикологический анализ Лаврентьевской летописи // Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1972. Т. 2.



© 2007 г. В. М. МОЙСИЕНКО

ЭТНОЯЗЫКОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ “РУСЬКОЙ МОВЫ” ВО ВРЕМЕНА ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ

Путаница в названиях официального языка Великого княжества Литовского (ВКЛ) появляется вскоре после возникновения самого термина “руська мова”. На изданном в Москве в XVII в. переводе книги украинского писателя Иоанкия Галятковского “Небо новое” (1665) написано, что она переведена с белорусского языка. Точно так же назван язык произведения известного украинского церковно-религиозного деятеля, печатника, писателя К. Транквилиона-Ставровецкого “Зерцало богословія”, изданного в Почаеве в 1618 г.: перевод “съ бѣлоросійскаго языка на чистый словенскій діалектъ” (1692). В России именно “белорусским” называли этот язык до середины XIX в. Митрополит Е. Болховитинов утверждал, что “бѣлорускій языкъ книжной перешель в Кіевъ, для книгъ же” [1. С. 176–177]; автор статьи “Бѣлоруссы” в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона также утверждает, что “на бѣлорусскомъ нарѣчїи писались литовскіе акты, грамоты и всѣ публичные акты до временъ Стефана Баторія. Такимъ образомъ этотъ языкъ является официалнымъ съ XIV и почти до XVII столѣтїя” [2. С. 232–233]. В том же словаре в статье “Литовско-Русское государство” отмечается, что там “официалнымъ языкомъ былъ русскій” [3. С. 286]. Так же назван официальный язык ВКЛ и в советских энциклопедических изданиях [4. С. 52]. “Литовско-руским” называли его И. Сахаров, И. Каратаев (см. [5. С. 254]). В историографии и филологической литературе XIX в. в научный оборот вводится (преимущественно российскими учеными) термин “западнорусский язык” [6. С. 182]. Позже в значительной степени благодаря научной деятельности Е. Карского фактически произошло отождествление понятий “западнорусский язык” и “старобелорусский язык”.

В европейской научной традиции термин “руська мова” трактовался по-разному. Теодор Библиандер (1504–1564) под “руської мовой” понимал украинский и белорусский языки одновременно; Петр Статориус (1530–1569) наряду с польским литературным языком выделял диалекты: мазовецкий, русский (украинский) и литовский (белорусский); А. Богорич (1520–1598) в своей грамматике среди славянских языков упоминает московский и русский; Й. Л. Фриш (1666–1743) в книге, посвященной кириллице и московскому языку, упоминает

Мойсиенко Виктор Михайлович – д-р филол. наук, профессор Житомирского государственного университета им. И. Франко.

лишь белорусский, называя киевский катехизис 1645 г. “книгой, написанной на белорусском диалекте” (см. [7. С. 57–60]).

Проблема разграничения украинских и белорусских памятников XV–XVI вв. и определения статуса языка, на котором они написаны, является одной из самых сложных в славистике и уже имеет свою историю [1. С. 253–263; 8–14]. Разумеется, больше всего она “беспокоит” белорусских и украинских ученых. Памятники, написанные на территории Белоруссии, а вместе с тем и их язык, белорусские исследователи однозначно считают белорусскими. В историю белорусского языка включаются не только произведения, язык которых лишь с натяжкой можно считать старобелорусским, как Четья 1489 г. [15. С. 84], но и работы, созданные украинскими учеными: “Лексис” и “Грамматику” Л. Зизания, “Лексикон” П. Берынды, “Грамматику” М. Смотрицкого [15. С. 227]. Более того, иногда белорусские специалисты сами нарушают “территориальный принцип” отбора и относят к белорусским явно не белорусские памятники, созданные далеко от Белоруссии, в частности “Грамматику” И. Ужевича, написанную в Париже (манускрипты 1643, 1645 гг.), или “Букварь” И. Федорова, напечатанный во Львове в 1574 г. [16]. Последовательно старобелорусским называет язык памятников с белорусских территорий, входивших в ВКЛ, В. Свежинский [14. Т. II. С. 132–163]. Украинские же ученые (лингвисты, историки) в большинстве своем более корректно оценивают языковую ситуацию, сложившуюся на землях ВКЛ, называя этот язык украинско-белорусским [17; 18], западнорусским с двумя вариантами: украинским и белорусским [12. С. 10]. Пожалуй, только И. Огиенко официальный язык ВКЛ называл украинским [19. С. 98].

В данной проблеме существуют свои объективные трудности. Общей была историческая судьба украинцев и белорусов, живших в составе одних и тех же государственных образований: X–XIII вв. – в Киевской Руси, в XIV – середине XVI вв. – в составе ВКЛ (исключая Галицию, Буковину, Подкарпатье), со второй половины XVI до конца XVIII в. – в составе Речи Посполитой (далее – РП). Оба народа унаследовали письменную традицию Киевской Руси. Все это не могло не отразиться в дальнейшем и на формировании отдельных языков – украинского и белорусского как таковых, и на характере текстов, написанных представителями указанных народов. Во время вхождения в состав ВКЛ и РП эти тексты нередко в плане графическом и языковом практически не различались, хотя, разумеется, писари, например, из Полоцка и Каменца-Подольского читали один и тот же текст по-разному.

Субъективные трудности состоят в том, что каждый исследователь, представитель того или иного этноса, сталкиваясь с данной проблемой, стремился по своему трактовать каждый отдельно взятый памятник, акцентируя внимание на чертах, присущих той или иной языковой системе: белорус – на белорусских, украинец – на украинских.

Скорого разрешения этой проблемы не предвидится, особенно в контексте становления отдельных государств – Украины и Белоруссии. На сегодняшний день общепризнано:

– в ВКЛ существовал официальный язык, который во времена его функционирования назывался “русским”;

– этим языком пользовались (на письме) предки украинцев, белорусов и литовцев;

– устная речь украинцев и белорусов в это время отличалась от письменного “русского” языка;

– это различие было более выразительным на юге украинской территории, где отчетливо проявлялся “украинский языковой комплекс” (иканье, отверждение согласных перед *e, u*, слияние древних *i, y* > *u* и т. д.), и на севере белорусской, где выступал “белорусский комплекс”¹ (аканье, дзеканье, цеканье и т. д.).

При выдвигании аргументов “за” и “против” не стоит забывать еще об одном объективном факторе – об унаследованных общих украинско-белорусских языковых чертах, которые выделяются среди прочих восточнославянских:

– судьба напряженных редуцированных перед *j*: укр. *крию, мю*, блр. *крыю, мью*;

– рефлексация **tʲyt, *tʲlt*: укр. *вовк*, блр. *воук*;

– явление удвоения переднеязычных согласных перед **ʲje*: укр. *суддя*, блр. *суддзя*;

– утрата начального *i*: укр. *грати*, блр. *граць*;

– слияние в одном предлоге древних двух *съ, изъ* > *з* (*із, зо, зі*): укр. *з батьком*, блр. *з бацькам*;

– чередование предлогов *у/в* в зависимости от фонетического окружения: укр. *взяла в нього* и *взяв у нього*; блр. *узяў у яго*;

– наличие фрикативного *g* [21. С. 153–160];

– явление протезы *v* и реже *g*: укр. *вухо, вус*, блр. *вуха, вус*;

– судьба сочетания **dj*: укр. *воджу*, блр. *ваджу*.

Едва ли не больше всего работ вопросу идентификации и определению статуса языка ВКЛ посвятил академик Е.Ф. Карский [5. С. 188–250, 483–501; 22]. Его взгляды несколько изменялись, однако в целом сводились к тому, что “народный (белорусский. – В.М.) язык... служит языком администрации и на нем пишутся юридические и литературные памятники; на нем говорит вся интеллигенция Литовско-русского государства... Этот язык, ставши государственным в Литовском государстве, распространился и в письменности юго-западной Руси, причем в последней явно начал обнаруживать малорусские особенности” [22. Т. III. Ч. 2. С. 124]. Основные положения, в которых характеризуется данный язык и определяется его принадлежность, изложены в работе “Что такое древнее западнорусское наречие?” (см. [5]). В ней языковед на основе сопоставления черт, встречающихся в памятниках, с данными современной (для времени Карского) белорусской диалектологии пытается продемонстрировать очевидность утверждения о превалировании в западнорусском наречии особенностей белорусских говоров, и, следовательно, он является белорусским. К таким особенностям ученый относит: 1) появление неслогового *y* (*y*) на месте *u* и *v*; 2) отверждение *p*; 3) наличие написаний *жч* и его вариантов; 4) аканье; 5) наличие фрикативного *g*; 6) сохранение результатов второй палатализации; 7) сохранение слогов *ый–ій*, соответствующих великорусским *ой–ей*; 8) явление удвоения переднеязычных согласных; 9) дзеканье, цеканье.

Е. Карский отмечает, что черты 1, 3, 5, 6, 8 характерны и для памятников украинского языка, а “выдающаяся” (аканье) и “самая характерная” (дзеканье, цеканье) черты белорусских говоров – в памятниках западнорусского наречия встречаются редко [5. С. 255–257]. Обратим внимание на то, что 7-я черта явля-

¹ Термин “белорусский комплекс” употребил В. Чекмонас для определения наиболее ярких особенностей языковой системы (см. [20. С. 39]).

ется также характерной для украинской разговорной речи: *восьмий, іній*; черта 2 присуща до сих пор языку жителей Полесья: *бурак, раби*. В различных работах Е. Карский к характерным чертам западнорусского (= старобелорусского) языка также относит:

- смешение **ѣ** и *e*: *поедѣть, поедеть, къ рецѣ* [5. С. 224];
- переход *e* в *o* после отвердевших шипящих, *ц* и *р*: *пошоль, съжогъ, чотыри* [5. С. 222–223];
- появление *e* на месте безударного *a* < (**ę*): *упоме нути, гле дѣти, тисе чи* [5. С. 191].

Чрезвычайно важные и до сих пор актуальные выводы в связи с данной проблемой делает Хр. Станг в уже упомянутой работе “Die westrussische Kancleisprache der grossfürstentums Litauen”, а также В. Курашкевич в своей рецензии на работу норвежского лингвиста. Из выводов Хр. Станга (их принимает В. Курашкевич) видим, что лишь написание **ѣ** дает относительно последовательную триальную картину, касающуюся происхождения писаря: сохранение **ѣ** независимо от ударения – писарь с юга Украины; под ударением **ѣ**, в безударной позиции *ε* – с юга Белоруссии или севера Украины; смешение **ѣ** и *ε* – с севера Белоруссии. По остальным 15-ти выделенным особенностям (фонетическим, грамматическим и графическим) южноукраинские (галицкие и молдавские) грамоты противопоставляются волынским и белорусским (сначала приводится пример из южноукраинских грамот, потом из североукраинских и белорусских):

- из орфографических – буква **ы** – *ы*;
- из фонетических – замена **ѣ** > *и* в галицких памятниках и отсутствие ее в волынско-белорусских;
 - на месте **e* в новых закрытых слогах находим **ѣ**, *и*, *ю*, в то время как в волынских эта замена встречается редко, а в белорусских совсем отсутствует;
 - то же касается и написаний *у* на месте древнего *o* в той же позиции;
 - *кы, гы, хы* – *ки, ги, хи*;
 - смешение *ы*, *и* – отсутствие смешения;
 - в словоизменении флексия **ѣ** в сущ. Gen. sg. *землѣ* – *земли*;
 - окончание *-иш*: *людиш* – *еи*: *людеи*;
 - в Dat. sg. сущ. муж. рода флексия *-у, -ови* – только *-у*;
 - в Nom. pl. *свѣдци, намѣстци* – *сведки, намѣсткы*;
 - наличие в этой же форме окончания *-ове* – *-у* (*-ове* только как явный полонизм);
 - в Gen. sg. местоимений и прилагательных *тоѣ, тои, рускоѣ, рускои* – *тое, руское*;
 - местоименные формы *тѣхъ, тѣмъ* – *тыхъ, тымъ*;
 - окончания 1 л. мн.ч. глагола *-мъ, -мо, -мы* – преимущественно *-мъ*, только *есмо* [10. S. 277–279].

В. Курашкевич считает невозможным отличить писарей – выходцев с севера Украины от южнобелорусских на основе анализируемых грамот. Хотя к югу все больше проявляются украинские черты (отверждение согласных перед **i* и **e*; мягкость *ц*’; развитие дифтонга *yo* в направлении *i*’; формы местоимений *що, шо, вуон, вона*; отсутствие оглушения *дуб, бабка*), а соответственно на север – белорусские (цеканье, дзеканье, аканье; велярность *ц*’; отсутствие свидетельств развития дифтонга *yo* в направлении *i*’; формы местоимений *што, йуон, йана*; оглушение *дуп, банка*), – однако в памятниках XIV–XV вв. подобные черты отображения не нашли. Исходя из этого язык, функционировавший на террито-

рии между Луцком и Минском (на основе письменных памятников), В. Курашкевич считает наречием срединным (переходным) между южноукраинским и севернобелорусским [10. S. 284–285]. Наконец, обратим внимание на важный вывод Хр. Станга, который отмечает также В. Курашкевич: “... грамоты третьей группы, севернобелорусской, кроме смещения **ѣ** и *e* независимо от ударения, ни одной чертой не противопоставляются второй (срединной) группе” [10. S. 288]. Общий конечный вывод Хр. Станга и В. Курашкевича: “... традицию белорусского канцелярского языка начинают галицкие писари Казимира Великого и Владислава Ягелло, значительный вклад принадлежит волынянам во времена Свидригайло. Вместе с тем в канцелярии Казимира Ягеллончика и его преемников работали уже преимущественно писари-белорусы, но *кроме смещения ѣ с e не внесли в этот язык ни одной характерной особенности*” (курсив наш. – В.М.) [10. S. 290–291].

Главным образом эти и некоторые другие языковые особенности в дальнейшем выделяют ученые в своих работах, доказывая белорусский или украинский характер памятника.

В. Аниченко маркирующими белорусскими чертами, отличающими памятник от украинского, считает: 1) смешение **ѣ** и *e*; 2) твердость *ц*: *конецъ, палець*; 3) смешение *ч* – *ц*: *поцекать, оцищать*; 4) наличие окончания прилагательных, местоимений, числительных *-ие*: *малые, великие, первые*; 5) употребление в глаголах 1 лица мн. ч. окончания *-м*: *носимъ, напишемъ*; 6) формы составного будущего времени со вспомогательным словом *бути*: *буду читать, буду писать*; 7) инфинитивы на *-ть*: *писать, казать* [13. С. 22].

Ученый выделяет значительное количество черт в XIV–XV вв., общих для украинских и белорусских памятников: 1) утрата безударного *и* в начале слова: *шоль, маеть, здавна, ма*; 2) наличие протезы *в, г*: *вътъ мертвыхъ, Вольга, оув озерищехъ, вовса*; 3) древние *ы, и*, возникшие из *і, ь* перед *ј* дали *и (ы)*: *ишю, вторый, долгий*; 4) отвердение шипящих: *старший, речъ, чы, тожь, нашъ, чтучы, възчисто*; 5) переход *-л* в *-в (ў)* главным образом в суффиксах глаголов: *замешкавъ, Вовчъкевичъ, видивъ, хотѣвъ*; 6) смешение *в* – *у*: *у чомъ, у новину, оухочеть, с уладыкою*; 7) менее распространенный переход *у* в *у*: *вряду, вчинити, вжитки, вкажетъ*; 8) рефлекс *дж < *dj* в соответствующих памятниках только в слове *їздити* и его производных: *приѣздживалъ, приездчали*; 9) следы фрикативного *г*: *кгвалты, фикгимикгдалы, никды, жикгимонтъ, скиркгаило*; 10) отсутствие начального *г*: *осподарь, осподарю*; 11) отвердение *р*: *писаръ, по старынѣ, мунастыръ, грывенъ*; 12) замена *к, г, х* на *ц', з', с'*: *в Ризѣ, руцѣ, на речце, слузѣ, пса(н) в троце(х)*; 13) параллельные окончания *-а, -у* в существительных мужского рода родительного падежа единственного числа: *своего роду, року одного, о(т) броду, около дому*; 14) окончание *-и(ы)* в сочетании с числительными *два, три, четыре*: *два гроши, четыре звоны, два фунты, три паробѣки*; 15) употребление окончания *-и* в Дат. и Предл. пад. всех трех родов ед. ч.: *у клети, у литовскои земли, на томъ мэстци, по ... воли, у галичи, в граде Житомири*; 16) падежные формы местоимения *той*, а также *кто, що, ніщо* с гласным *и(ы)*: *тимъ, тыхъ, кимъ, чимъ, никимъ*; 17) формы определительного местоимения *вси*: *всихъ, всимъ, вси* (тут белорусское *и*, как и украинское, возникло по аналогии, но теперь закреплено нормой); 18) отсутствие *-ть* в глагольных формах 3 л. ед. ч.: *не мае, дае, буде, може*; 19) причастия и деепричастия на *-учи, -ачи*: *будучи, не дбаючи, рахуючи, мовячи*; 20) употребление предлога-

префикса *зъ*: *зъ болоты, з братомъ, збудовати, зъ гаи, згинулъ*; 21) употребление предлога *до*: *до земли, до него, до нас*.

Эти же черты, по мнению ученого, продолжают доминировать в документах украинской и белорусской письменности и в XVI в., причем еще более отчетливо [13. С. 49–69].

А. Журавский приводит те же особенности из “Книги маршалковского суда” 1510–1517 гг. С его точки зрения, они характеризуют памятник как белорусский: 1) ять (*ѣ*) чаще всего передается буквой *е*: *вено, дель, лесь, сено*. Употребление графемы *ѣ* очень ограничено; 2) переход начального *у* в *у*: *вживати, вказовати, вмовити, вчинити, втопити*; 3) передача безударного *ѣ* как *е*: *деветь, десеть, заець, паметь*. Эта черта представляет собой отличительную орфографическую особенность белорусской письменности в отличие от украинской, где замена *ѣ* на *е* имеет место лишь как признак белорусского орфографического влияния.

Столь же отчетливо проявляются белорусские особенности и на грамматическом уровне: 1) окончание *-у* в существительных 2 склонения Род. пад. ед. ч.: *бору, бою, году, доводу, дому, замку*; 2) окончание *-у* в Дат. пад. ед. ч. существительных названий существ: *брату, войту, гостю*; 3) формы существительных женского рода в Твор. пад. ед. ч.: *волюстью, данью, частью*; 4) формы Предл. пад. существительных *о*-основы с окончанием *-у*: *в белску, у бору, в долгу, в меху, на торгу*; 5) существительные мужского рода мн. ч. имеют окончания *-и/-ы*, конечные согласные основ существительных *к, г, х* не переходят в свистящие: *будники, врдники, ездоки, коморники, мытники*.

Эти и подобные примеры адекватно отражают состояние указанных форм в живом народном (белорусском. – *В.М.*) языке того времени [15. С. 42–44]. Но ведь в перечисленных В. Аниченко и А. Журавским “отличительных особенностях”, характеризующих белорусскую письменность, за исключением разве что смещения *ч–у*, все остальные также характерны и для северноукраинских письменных памятников².

В ряде работ вопросу разграничения украинских и белорусских памятников уделил внимание также известный украинский ученый И. Огиенко (см. 1; 19; 24). Исследователь не разделяет точку зрения о господстве в ВКЛ белорусского языка, оппонируя Е. Болховитинову, А. Соболевскому, Е. Карскому [1. С. 176]. И. Огиенко утверждает, что процент украинских писарей в великокняжеской канцелярии был немалым. Ссылаясь на работу польского историка О. Галецкого, он отмечает, что ВКЛ состояло из собственно Литвы и присоединенных территорий. Собственно Литва включала полностью территории Виленского, Троковского воеводств, а также Подляшье, Берестейскую землю, Черную Русь с Гродно, Новогрудком, Полесьем и Минском, т.е. она состояла, кроме собственно литовцев, также из белорусов и украинцев, которые были ранее присоединены к Литве [25. S. 5]³.

² Литературу, посвященную анализу языковых особенностей северноукраинских памятников, где эти же черты выделяются, появившуюся в последнее время, см. в [23].

³ Ср. также: “В ядро Литовского государства, собственно Литовской земли, входили не только исконные территории литовского племени, но также и соседние руськие – Черная Русь с Новогрудком и Гродно, Подляшье (Берестейщина), Полесье – земли, захваченные Литвой в 13 в., т.е. территория нынешних южнобелорусских и северноукраинских говоров” [12. С. 42].

Полемизируя с Е. Карским, И. Огиенко справедливо замечает, что у белорусского ученого какого-либо четкого метода разграничения белорусских и украинских памятников не было. Главный его принцип: считать памятник белорусским, если в нем нет явных украинизмов [22. Т. III. Ч. 2. С. 16]. Однако нередко объектом анализа ученого становились памятники собственно украинские, как, например, Учительное Евангелие 1616 г. (напечатано в Евье), которое перевел Мелетий Смотрицкий. Этот памятник Карский относит к “самым чистым западнорусским” и на его основе исследует белорусское ударение [22. Т. III. Ч. 1. С. 522]. Однако сомнительно, чтобы происходивший с Подолья Смотрицкий в своей работе использовал характерное для той эпохи белорусское ударение. Выходит, что Карский изучал белорусское ударение на основе диакритики, которую проставил украинский автор. Вообще отбор Карским памятников для характеристики западнорусского наречия не всегда логичен. Если еще можно обосновать отнесение к западнорусским произведений Леонтия Карповича, который родился на юге Белоруссии и последние годы провел в Вильне (хотя образование он получил в Острожской академии и долгое время был иеродиаконном Киево-Печерской лавры), то гораздо труднее объяснить, почему “Книга о вѣрѣ единой” (1619) Захарии Копыстенского, выходца из Перемышля, относится к западнорусской письменности, а его же “Палінодія или Книга Оборони католической святой апостолской Вхходней церкви и святыхъ патріархов...” (1619–1622), появившаяся не на белорусской территории, – нет [22. Т. III. Ч. 2. С. 207].

И. Огиенко склонен видеть причину разногласий между исследователями по поводу отнесения памятника к собственно украинским или белорусским в том, что большинство белорусских и российских ученых (а позже и ученых из других стран) основным критерием принадлежности произведения к белорусскому языку называют две черты: 1) смешение **ѣ** с *e*, 2) написание *e* на месте *a* < (*а, *ѣ) в безударной позиции. Однако украинский лингвист не разделяет эту позицию, поскольку такие черты распространены и в северном наречии украинского языка. Территория северноукраинских говоров в XV–XVII вв. была значительно шире, поэтому данные особенности для писарей канцелярии с северноукраинских земель были типичными [1. С. 176]. По мнению Огиенко, в связи с упомянутыми двумя чертами следует учитывать:

– смешение **ѣ** – *e*, *я* – *e* нельзя считать только белорусским признаком, поскольку это явление наблюдается также в северно- и западноукраинских говорах;

– наличие такого смешения в украинских (не северноукраинских) памятниках является главным образом традиционной орфографической чертой, а не признаком их принадлежности к белорусским;

– смешение **ѣ** – *e* в украинских памятниках никогда не проводится так часто, как в белорусских;

– в украинских памятниках, где употребляется традиционное орфографическое *e* вместо **ѣ**, всегда много случаев с *i* (*и*) вместо **ѣ**, что не известно белорусским памятникам;

– памятники с наличием смешения **ѣ** – *e*, *я* – *e*, но при этом фиксирующие смешение **ѣ** с *i*, следует считать украинскими [1. С. 185].

Какие же подходы к разграничению украинских и белорусских памятников предлагает И. Огиенко?

1) Самым первым и самым важным является национальность автора;

2) языковой критерий применяется тогда, когда авторство и место написания неизвестны;

3) территориальный принцип;

4) где бы автор ни написал или напечатал свой памятник, он все-таки остается памятником языка того этноса, к которому принадлежит автор. Нация же, на территории которой создан памятник, может причислять его только к памятникам культуры, но не к памятникам языка;

5) анонимные произведения с диалектно невыразительным языком можно относить к памятникам того народа, на землях которого они были созданы;

6) анонимные произведения с диалектно невыразительным языком, место возникновения которых неизвестно, могут приписываться и белорусам, и украинцам;

7) перепечатанный за пределами родного края памятник остается памятником того этноса, к которому принадлежит автор;

8) если автор происходит из переходного украинско-белорусского пограничья, тогда о “национальности” памятника в большей степени свидетельствует язык, а при невыразительности его он остается общим для обоих народов [1. С. 184].

Сугубо практические цели вынудили составителей исторических словарей украинского языка Е. Тимченко и Л. Гумецкую выработать свой подход к разграничению украинских и белорусских памятников. Тимченко подошел к решению проблемы, основываясь на территориальном принципе, одновременно отмечая, что он не абсолютен, “потому что некоторые памятники, несомненно относящиеся к украинскому языку, писались или печатались в Белоруссии” (см. [26. С. III]). Такой подход поддержали и авторы Исторического словаря белорусского языка: “Основным тут является учет того, где и в какой среде создавался памятник, на удовлетворение чьих интересов он был ориентирован, где и кто его читал. Логическое развитие этого тезиса приводит к признанию территориального критерия как основного при разграничении памятников” [27. С. 15].

Иначе подходили к проблеме составители “Словаря староукраинского языка XIV–XV вв.” под руководством Л. Гумецкой. В основу был положен языковой критерий. Сама исследовательница неоднократно выступала с программными статьями, касающимися разграничения памятников. Она выделяет язык “западнорусский” как общий для украинцев и белорусов, на основе которого со временем все более отчетливо проявляются собственно украинские и белорусские особенности. «“Западнорусским” литературным языком XV–XVII вв. следует считать язык таких памятников, которые нельзя причислить ни к исключительно белорусским, ни к украинским, где отражены как специфические украинские, так и белорусские черты. На “западнорусском” языке написаны памятники: Вислицкий статут XV в., три Литовских статута 1529, 1566, 1588 гг. и т.д. Но, поскольку в период XV–XVII вв. возникают уже и памятники с исключительно украинскими или с исключительно белорусскими языковыми чертами, свободные от специфических черт другого языка, язык таких памятников следует называть старобелорусским и староукраинским» [11. С. 334]. Л.Л. Гумецкая не соглашается с В.В. Аниченко по поводу причисления памятника к белорусским на основе нескольких черт (речь вновь идет о смещении $\text{Ѣ} - e, \text{я} - e$), поскольку эти особенности также характерны для говоров северного наречия украинского языка [12. С. 42].

Н.И. Толстой, говоря о статусе литературно-письменного языка в литовско-польском государстве, отмечает чрезвычайно непростую ситуацию в западно-

русских землях, аналогов которой нет в мире [28. С. 241–242]. «Вряд ли еще где-то можно найти аналогичное состояние, где бы существующие “типы”, “варианты” или, лучше сказать, разные манифестации литературного языка создавали бы такой широкий спектр с многочисленными переходами-и оттенками, где с одного фланга был польский, а со второго – церковнославянский в относительно чистом виде. Среднее положение между ними занимал язык “западнорусский”, в одних случаях он приближался к украинскому, в других – к белорусскому, но никогда в принципе не являлся фиксацией того или иного диалекта украинского или белорусского языков, а являл часто эксперимент создания своеобразного литературного койне, основными носителями которого была мелкая буржуазия, военные, городское и сельское духовенство, а также шляхта. Если для польского языка установление на то время норм было вопросом беспроблемным, для церковнославянского тоже (Смотрицкий это блестяще сделал), то промежуточные слои спектра оказались менее нормализованными и представляли собой часто компромиссные опыты над языком: церковнославяно-западнорусский, западнорусско-польский, церковнославяно-западнорусско-польский» [28. С. 245]. Наконец, Н.И. Толстой делает вывод, что “во второй половине XVI в. и в начале XVII в. на Украине и в Белоруссии в принципе был единый литературный язык” [28. С. 242].

В последнее время исследуемая проблема все чаще обсуждается в научных журналах и, что приятно, не только украинских и белорусских [29–31]. В. Мякишев в самом начале статьи «“Русская мова” Литовского статута 1588 года и виленских актовых книг XVI века» утверждает, что «факт принадлежности анализируемых текстов – статута и актов – к белорусской разновидности “русской мовы” приобретает дополнительную значимость именно под конец XVI века, когда канцелярский язык, как и в целом литературный язык княжества, различая белорусский и украинский варианты, стоит накануне передвижения языковой основы в сторону юго-западного наречия» [30. 58–64 old.]. Выделив первое издание Статута как близкое к эталону “русской мовы”, автор путем статистических подсчетов фонетико- и морфолого-грамматических явлений стремится показать, как отклонялся со временем этот эталон преимущественно в украинскую сторону. Конкретных примеров черт эталонного языка исследователь приводит мало, по большей части соглашаясь с предшественниками, которых не называет: «... из фонетико- и морфолого-грамматических явлений, которые причисляют к выразительным особенностям “русской мовы”... следы отвердения шипящих, *p*, *ц*; переход *e* в *o*, *я* в *e*; изменения в группах согласных, развитие плавных...» [30. 59 old.]. В целом в статье графико-лингвистическим анализом не подтверждается один из выводов: «Текст кодекса разных изданий, будучи “верным отражением времени”, наглядно демонстрирует, как ослабевает к концу столетия белорусская системность статутного “языка”, отклоняясь в сторону “простомовных” нормативов украинского письма» [31. 61 old.]. То есть для лингвиста очевидно, что первые издания Статута написаны “руським”, приближающимся к старобелорусскому языку. Подтверждением этому служат главным образом графико-орфографические черты, которые приводит В. Мякишев, ссылаясь на работы И. Огиенко, В. Аниченко, А. Булыки. Собственных языковых аргументов в подтверждение этого тезиса ученый не приводит.

М. Мозер непосредственно проблемы разграничения памятников в статье «Что такое “простая мова”?» не касается. Отвечая на вопрос, поставленный в названии статьи, ученый, в частности, отмечает, что «понятия “украинский” и

“белорусский” в XVI–XVII вв. еще не утвердились для названий соответствующих земель или же имели совсем иное значение. Вместе с тем, с современной перспективы названия “староукраинский” и “старобелорусский” язык относительно “простой мовы” абсолютно приемлемы, поскольку она представляет собой этап в развитии именно украинского и белорусского литературных языков» [29. 224 old.]. Для исследователя очевидно, что старобелорусский и староукраинский языки в период ВКЛ и РП существовали, причем «деловая “руська мова” сначала имела больше северных элементов, то есть белорусских, но с течением времени в ней, как и в “простой мове”, начинают доминировать южные, то есть украинские черты» [29. 229 old.]. Вообще Мозер “руську мову”, а затем и “простую мову” считает общей для украинцев и белорусов, которая, однако, могла функционировать в определенных вариантах: «“простая мова” представляет собой литературно обработанную, надрегиональную разновидность белорусского и украинского языков среднего периода, возникшую на базе общего “русского” (=украинско-белорусского) делового языка, которая, даже обнаруживая некоторые черты народного украинского и белорусского языков, испытывала настолько сильное влияние со стороны польского языка и польских текстовых образцов, что исследователи часто оспаривали саму ее “белорусскость” или “украинскость”» [29. 221 old.]. При идентификации этого языка с определенным этносом возникают трудности прежде всего потому, что “простая мова” по сути не является ни собственно староукраинским, ни старобелорусским созданием; речь идет скорее о “староукраинском и старобелорусском литературном языке” (в связи с чем и безапелляционное отнесение многих памятников к белорусским и украинским представляется невозможным). Ученый не соглашается с Журавским, что «термин “белорусский язык”, введенный в научный оборот еще в начале 19 в., более всего отражает структурную и материальную характеристику этого языка» [29. 223 old.].

Много внимания вопросу статуса официального языка ВКЛ в своих работах уделяет известный белорусский историк языка В. Свежинский [14; 32]. Он принадлежит к числу тех ученых, которые однозначно считают, что памятники с территории Белоруссии написаны на старобелорусском языке. Свежинский отмечает, что все основные специфические черты, которые выделяют белорусский язык, находим уже в грамоте 1300 г.:

- написание *e* на месте *ѣ* (*ехати, тебе*);
 - выпадение гласного *и* в начале слова (*шоль*);
 - переход *e* в *o* после шипящих (*бочокъ, пришоль*);
 - переход суффиксального *л* в *в* в формах глаголов прошедшего времени мужского рода (*оубоявся*);
 - замена *в* на *у* перед согласными (*у чомъ*);
 - чередование *г, к, х* с *з, ц, с* (*в Ризѣ*);
 - цокание (*доконцанъ*);
- из морфологических черт:
- окончание *-у (-ю)* в существительных мужского рода Род. пад. ед. ч. (*воску*);
 - сочетание существительных мужского рода с числительными *два, три, четыре* в форме мн. ч. с флексией *-и (-ы)* (*берковескы копи*);
 - формы на *-и* в существительных третьего склонения (*у клети*);
 - падежные формы неличных местоимений с корневыми *ы, и* (*тымъ, чимъ*)
- [14. Т. I. С. 130–131].

В. Свежинский приводит многочисленные иллюстрации, как собственные, так и предшественников, являющиеся, по его мнению, доказательными для определения языковой принадлежности памятника. Правда, и тут в собственных ремарках ученый настойчиво подчеркивает только “белорусскость” западнорусского языка. “Как считает Курашкевич, работа этого исследователя (Станга. – В.М.) очень ценная и сделана на широкой основе, дает детальный образ официального западнорусского (т.е. белорусского. – В.С.) языка на протяжении двух столетий: XV и XVI” [14. Т. II. С. 133]. Однако ни Станг, ни Курашкевич в упомянутых работах нигде категорично не утверждают, что официальным языком ВКЛ был именно белорусский. Действительно, как отмечает В. Свежинский, В. Курашкевич не объединяет волынские и белорусские грамоты [14. Т. II. С. 134], но из 17 приведенных дифференциальных черт, по которым противопоставляются южноукраинские (галицкие и молдавские) грамоты волынским (северноукраинским) и белорусским, только одна – смешение **ѣ** – *e* – позволяет отделить белорусские грамоты от волынских [10. S. 277–279]. Белорусский языковед, ссылаясь на работы В. Аниченко, перечисляет ряд признаков, демонстрирующих не только языковую самостоятельность, но и графическую:

- на месте древнего *ѣ в белорусских текстах чаще отмечается *e*, в украинских **ѣ**;
- в старобелорусском письме преобладало написание с *и* перед гласным, в украинском – *i*;
- для обозначения *й* краткого белорусские писари пользовались паериком, украинские нередко писали *и*, (*й*);
- отличия в написании *о* и *w*;
- буква *у* в белорусских, **oŭ**, **ŭ**, **ж** – в украинских;
- буква *a* после мягких в белорусской традиции передавалась *я*, в украинской – **а**;
- в белорусских для обозначения нейотированного *e* часто употребляли *э*, в украинских – **ε**;
- буква *з* – в белорусских, **з** – в украинских памятниках, в белорусских преимущественно для обозначения числа *б*;
- диграф *кz* – в белорусских, **т** – в украинских;
- употребление букв **ь** и **ѣ** в конце слов в белорусских текстах преимущественно этимологически оправдано, в украинских преобладает написание **ь**.

Таким образом, если существовал ряд принципиальных отличий между украинским и белорусским письмом и украинские черты легко выявляются в тех белорусских текстах, в которых они встречаются, свидетельствует ли это о тождестве старобелорусского и староукраинского языков? – логично спрашивает белорусский ученый (см. [14. Т. II. С. 136–140]. Разумеется, нет. Живые языки существенно различались, о чем и свидетельствуют записи белорусских и украинских текстов некириллическим письмом [18. С. 38–39; 22. Т. III. Ч. 2. С. 212–240; 33]. Комментируя эти черты как доказательство самостоятельности украинской и белорусской графико-орфографических систем, следует отметить, что несложно найти десятки украинских памятников, в которых такие отличия не проявляются. В Житомирских, Овручских, Кременецких, Луцких актовых книгах абсолютно преобладает написание с паерком вместо *-и(й)* (**Лого’ски**). Такое же написание последовательно встречается в кириллических памятниках с Холмщины, например, в “Артыкулахъ бра’ству Косопуд’скому” (**самы**); в

“Ключе царства небесного” М. Смотрицкого в конце слова *ь* и *ъ* употребляется согласно с этимологией; в Пересопницком Евангелии паерок, как правило, употребляется на месте *ь* и *ъ*: *аминь, подоб'но*; диграф *кз* вообще явно доминирует в украинских памятниках со всех территорий по сравнению с *т*. В свою очередь, в типичном “западнорусском” памятнике “Катехизисе” 1585 г., напечатанном в Вильне, наблюдаем характерные (по Свежинскому) украинские графические признаки: наличие графем *ѣ, ж, – а: сакраментѣ даха, пораднє*, написания с *i* перед гласными *-іє, -ія: збавленія, марія*, вместо паерка употребление *ь, ъ: служъвы, миръского* и т.д. [34]. К тому же следует помнить, что легко выделяются определенные тенденции в манере письма выходцев из Житомира в сравнении с луцкими (что и отмечал известный украинский палеограф И. Каманин) [35. С. 18], не говоря уже о значительных отличиях между графико-орфографическими системами памятников из Овруча и села Одрехова (Лемковщина). Действительно, по Свежинскому, однозначная правка вносилась в соответствии с местными правилами письма; верно, что белорусские тексты правились на Украине, а украинские – в Белоруссии потому, что местный читатель говорил не так, как писали в соседнем крае. Но никак нельзя согласиться с тем, что при прочтении текстов, написанных белорусскими писарями, у украинского читателя могли возникнуть проблемы с их пониманием и что это было не копирование, а переводы с языка на язык [14. Т. II. С. 141]. Если согласиться с мыслью, что “Диариуш” Филипповича (оригинал) и его украинский вариант или списки “Лексикона” П. Берынды, создаваемые на Украине и в Белоруссии, являются переводами с языка на язык (белорусского на украинский), то и список Житомирского Евангелия 1571 г. по сравнению с Пересопницким значительно отличается с учетом черт живого языка, причем в Житомирском Евангелии довольно часто наблюдаем смешение *ѣ* с *е* и *я* с *е*: *не хотєл, лєшиое, повєсти, нє присєгай, тисєчи, споменулі* [36. С. 191, 194], чего практически нет в Пересопницкой рукописи. Неужели и здесь можно говорить о переводе? Тогда с какого языка на какой? Однако как быть с очевидным фактом, что лишь единичные памятники, которые белорусские ученые однозначно относят к белорусскоязычным, характеризуются аканьем (нередко сомнительным, ср. *поламати, помагати, выганяти* [36. С. 10]), а дзеканье и цеканье практически отсутствуют. Те же доказательства в пользу белорусского характера памятника, которые приводят Е. Карский, В. Аниченко, А. Журавский, В. Свежинский, характеризуют и северноукраинское наречие. И выводы типа “неслияния *ы* и *i*, отверждение шипящих и *ц* отделяют звуковую систему Евангелия Тяпинского от украинских диалектов” [37. С. 19] не совсем научно обоснованы. От каких диалектов? Среднеднестрянского, галицкого, подольского? Безусловно, но не от северноукраинского.

Исследователи, стремясь внести ясность в проблему, еще больше ее затемняют, когда называют официальный язык ВКЛ староукраинским (И. Огиенко), старобелорусским (большинство белорусских языковедов). Почему-то за эталонные (характерные) украинские языковые черты берутся только южноукраинские: иканье (в памятниках – сохранение буквы *ѣ*, явление “нового *ятя*”), и на месте *е* в новых закрытых слогах (*шнєть*), у на месте *о* в новом закрытом слоге (*кунь*), совпадение древних *ы, i* в *и* (*лыхо*) и т.д. Это действительно маркирующие особенности украинского языка, которые на фонологическом уровне выделяют его среди всех славянских. Большинство таких черт закреплено нормой современного литературного языка. Маркирующими белорусскими при-

знаются черты, которые также присущи одному из территориально-языковых образований в рамках другого государства. При этом особенности, которые действительно являются определяющими белорусскими (аканье, дзеканье, цеканье, местоименные формы *гэты, йон* и т.д.) и в дальнейшем стали литературной нормой, в памятниках появляются спорадически или же вовсе отсутствуют.

Главным образом территориальный принцип при установлении статуса памятника применяют польские ученые. Так, Э. Смулкова употребляет термин “старобелорусская письменность и язык” применительно к языку канцелярии ВКЛ именно в отношении светской и религиозной письменности, происходящей из северной части ВКЛ, которая характеризуется языковыми чертами, присущими белорусскому языку в соответствии с современным узусом. Начало этого периода относится к концу XIV в. (Кревская уния 1385 г.), а его высшей точкой стала вторая половина XVI в. (Люблинская уния 1569 г.) [38. S. 296]. Аргументы приводятся традиционные: прежде всего смешение *ѣ* – *e* и *я* – *e*. В дальнейшем это неразличение приводит к откровенным недоразумениям. Польская исследовательница отмечает, что в 1696 г. вышло постановление Генеральной Варшавской Конференции о том, что правительственные документы должны писаться по-польски, а не по-белорусски, и приводит цитату: “Все декреты в дальнейшем должны издаваться на польском языке” [38. S. 298]. Из констатации Э. Смулковой выходит, что Генеральная Варшавская Конференция выделяла белорусский язык из “русского” и лишь для него (белорусского) ввела такие ограничения. А на “русскую мову” с украинских территорий это постановление не распространялось?

Собственно белорусские языковые черты на фоне церковнославянских проявляются в “Катехизисе” 1585 г. (по мнению исследователя памятника А. Фаловского), написанном в Вильно: “Среди исторических особенностей следует обратить внимание на существующие в письменном памятнике явления, относящиеся к живому западнорусскому (белорусскому) языку” [34. S. 40]. Какие же признаки “белорусскости” памятника приводит ученый? Белорусские черты он разделяет на те, которые проявляются активно и изредка. К активным принадлежат: совпадение *ѣ* и *e*; переход *e* в *o* после шипящих; утрата начального *i*; написание *ки, ги, хи*; депалатализация шипящих, *ц, р*. К редко употребляемым: аканье, переход *у* – *в*; развитие *рѣ* в *ри*; депалатализация губных в конце слова; упрощения в группах согласных; депалатализация *л*; диссимилиция в группе *кт*; удвоение переднеязычных согласных перед **ъе* [34. S. 40]. Из восьми признаков аканья три прямо на это явление не указывают: *катахизмъ, помагати, помагають* [34. S. 36]. Последние же два, которые довольно часто используются как доказательство “белорусскости” памятника, фиксируются уже в древнейших текстах с украинских территорий и в дальнейшем стали нормой для украинского литературного языка.

Как белорусский квалифицирует официальный язык ВКЛ З. Курцова. Она замечает, что на рубеже XV–XVI вв. белорусский язык распространился в Литве как официальный язык великокняжеской канцелярии, язык литургии униатской церкви, а вместе с тем и язык двора и привилегированных слоев, а потом все более широких слоев среднего литовского рыцарства и бояр. Белорусский стал ежедневным разговорным языком, родным для привилегированных литовцев среднего достатка [39. S. 33]. То, что разные слои ВКЛ в ежедневном общении могли пользоваться языком с явными белорусскими признаками (включая и черты “белорусского комплекса”), сомнений не вызывает, однако этот разго-

ворный язык официальным (письменным) в великокняжеской канцелярии не был. Эту функцию исполняла “руська мова”, что не одно и то же.

В работах польских лингвистов для характеристики польского языка XV–XVI вв. на территории ВКЛ используются термины “севернокресовый диалект” (территория Белоруссии) и “южнокресовый диалект” (территория Украины), причем границу между ними исследователи нередко проводят по современной украинско-белорусской границе. Последствием подобных штудий являются выводы о том, что говоры, например заблудовские, берестейские, внесли элемент разговорного белорусского языка в севернокресовый диалект, ратновские, ковельские, соответственно, – в южнокресовый. Потому и неудивительно, что для характеристики белорусского влияния на польский севернокресовый язык иногда приводят иллюстрации, мягко говоря, не совсем белорусские: *Nieświżu, na świę* (1635), *srybra* (1695), *z zasiwkim* (1641), *nilza było* (1669), *kopijek* (1794), *po wielkynicy* (1632), *dopiro* (1615), *cztyry, siekira* (1665) [39. S. 67–68]. В комментарии приведенного явления С. Курцова не указывает, откуда это *i* (для нее само собой разумеется, что белорусское).

Довольно интересно видение языковой ситуации на землях ВКЛ С. Вархола и Ф. Чижевского. По их мнению, на землях между Влодавой и Брестом на левом берегу Буга, входивших в Брестско-Литовское воеводство по крайней мере до 1569 г., городское, а особенно сельское население изъяснялось на севернукраинском диалекте. Официальным же языком вплоть до времен Люблинской унии, как и во всем ВКЛ, был язык старобелорусский [40. S. XI]. На каком основании дела, написанные, например, в Житомирском, Кременецком, Луцком городских судах (эти города входили в состав ВКЛ), следует относить к белорусскоязычным, польские ученые не объясняют.

На сложность проблемы разграничения украинских и белорусских памятников при выявлении заимствований из “руської мовы” указывала и Г. Турская. Она отмечала, что польские исследователи (А. Брюкнер, З. Клеменевич) обращали внимание на “руские” заимствования вообще, без детализации, хотя вопрос этот является для истории польского языка и культуры непростым [41. S. 77]. Среди причин нежелания языковедов указывать украинский или белорусский характер заимствования исследовательница отмечает главную: масса выражений, заимствованных на севере из белорусского источника, а на юге из украинского, ни практически, ни теоретически разграничить невозможно, исходя из их первичной принадлежности к одному из языков: *błay, chata, hulać, hultaj, klacza, kniaź, krynica, puha, prynuka, raby* (рябой) [41. S. 78].

Мы считаем, что при рассмотрении вопроса о статусе официального языка в Польско-литовском государстве и о разграничении украинских и белорусских памятников несправедливо обойдено вниманием значительное (по площади) и важное в Восточной Славии территориально-языковое образование – Полесье. Действительно, Полесье в настоящий момент административно “разделено” между четырьмя странами: Белоруссией, Украиной, Польшей и Россией. Наиболее резкая граница для Полесья и его жителей пролегла между Украиной и Белоруссией. Она почти пополам разделила некогда (и много в чем и до сих пор) единый этно-культурно-языковой комплекс. Его границы по-разному очерчивались исследователями. Как свидетельствуют исторические источники XIV–XVI вв., в частности хроники Я. Длугоша, М. Кромера, белорусско-литовские и староукраинские летописи, Полесье размещается между Волынью, Мазовией, Пруссией, Литвой и Русью. По М. Стрыйковскому, Полесье протяну-

лось от Подляшского воеводства до Днепра. В этот период (годы жизни графа 1547–1582) оно было заселено литовцами и “русинами”. В.М. Татищев Полесье видел не только на украинско-белорусском Правобережье, но и на Левобережье, в частности в Надсожье. Еще больше расширилось употребление названия Полесье в XIX–XX вв., что было обусловлено возникновением дифференциальных признаков Полесья, основанных на территориальных (Брестское, Пинское, Волыньское, Мозырьское, Брянское, Жиздринское, Калужское, Киевское, Черниговское, Минское и т.д.) и этнических (украинское, белорусское, русское, собственно полесское, литовское) чертах [42. С. 13–15]. Как видим, едва ли не все исследователи выделяют ядро Полесья: Ратно–Иваново–Береза–Ивацевичи–Ганцевичи–Старобин–Птич–Мозырь–Ельск–Словечно–Олевск–Сарны–Костополь–Ковель–Ратно [43. С. 37]. Приблизительно так же Полесье выделяли и в XIX в.: “...долина Припяти, три южные поветы Минской губернии: Пинский, Мозырьский, Речицкий ...земли, простирающиеся на юг до Ковеля, Клевани, Радомышля, включая местность от Буга до Днепра между Ковелем и Лоевом. Вся эта площадь называется Полесьем” [44. С. 340].

В свете всего сказанного логичным представляется подход группы научных сотрудников Института славяноведения, созданной Н.И. Толстым, к комплексному изучению Полесья. Ими была выделена сеть населенных пунктов для исследований в полевых экспедициях, которая включала 150 населенных пунктов Брестской, Гомельской, Брянской, Курской, Белгородской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровненской, Волынской областей. Исследования призваны были дать цельную картину полесского этноязыкового пространства. В рамках этой программы автором статьи подготовлен “Лексический атлас полесской народной медицины и лечебной магии”, свидетельствующий, что какой-либо разницы в стиле жизни, типах постройки, речи жителей, например, с Лучанки Овручского района Житомирской области и с Стодоличи Лельчицкого района Гомельской области нет, как нет ее и между жителями Полесья на юге Кобринщины и на севере Ратновщины и т. д.

На данный момент споры о границах Полесья фактически не ведутся. Оно четко очерчено, его языковые границы совпадают с физико-географическими. На северо-западе граница – аканье, на юге – дифтонги; северная граница проходит севернее линии Брест–Кобрин–Ганцевичи–Слуцк, восточная – по Днепру; юг Полесья ограничивает Волыньско-Подольская возвышенность и Овручский край [45. С. 5].

Можно согласиться с В. Свежинским, что балтийский языковой субстрат в формировании украинского языка участия не принимал (см. [14. Т. II. С. 144]). Полесье всегда было густонаселенным и формировалось преимущественно на основе славянских культур. Археологические и лингвистические данные позволяют сделать однозначный вывод о вычленении двух диалектно- и этнографически различающихся массивов: северного и южного [14. Т. II. С. 59]. Полесские говоры складывались на базе языка населения летописных древлян, вольнян и дреговичей, которые на левый, северный берег Припяти перешли, вероятнее всего, не раньше VIII в. До этого дреговичи жили на землях древлян (к северу от Припяти) [46. С. 45]. Крайняя северная граница полесских (северноукраинских) говоров, которую в разное время определяли разные исследователи, существенного смещения не претерпела: она проходит на север от Бреста–Кобрина–Ганцевичей–Слуцка [45. С. 5; 47].

Эта территория сыграла чрезвычайно важную роль не только в восточно-славянских, но и в целом в славянских этногенных процессах. Недаром многие ученые-слависты, говоря о прародине славян, наряду с другими регионами называют район бассейна Припяти [48].

До сих пор Полесье представляет собой во многом единое этнокультурное образование. Его лингвистические границы и в настоящее время до конца не стерлись. Если сейчас украинско-белорусское пограничье сдвигается на юг, приближаясь к государственной границе, то в прошлом оно безусловно локализовалось на левом берегу Припяти. Переносить современное диалектное состояние украинско-белорусского пограничья на пять–шесть веков назад нельзя. Южноукраинские языковые черты (“украинский комплекс”) с собственно белорусскими (“белорусским комплексом”) непосредственно не граничили. Между ними была значительная (несколько сотен километров) буферная зона в виде совершенно самостоятельного территориально-языкового образования – Полесья. Следуя логике выводов большинства исследователей, выделявших украинско-белорусское языковое пограничье во времена ВКЛ, нужно помнить, что южная полесская граница несомненно проходила значительно южнее нынешней. Поскольку полесские черты языковеды нередко безапелляционно причисляют к белорусским, то переходные украинско-белорусские говоры следует определять от условной линии Киев–Житомир–Ровно–Луцк, что вряд ли соответствует действительности.

Протоукраинские земли, входившие в Киевскую Русь (КР), как уже отмечалось выше, в языковом плане отчетливо разделялись на две зоны: северную и южную. Основные полесские черты на время распада КР (XII–XIII вв.) уже сложились:

- зависимость от ударения рефлексов древних *о, *е, *ё (под ударением преимущественно звуки неударной артикуляции или напряженные закрытые *ô, ê, é*, в безударной позиции соответственно – *o, e, e*);
- зависимость от ударения рефлексов древних *а и *я (под ударением – *'a (я)*: *ячни*, в безударной позиции – *е*: *ечмень*);
- сохранение (в северных среднеполесских и восточнополесских) древней фонемы *i*;
- переход *e* в *o* после шипящих;
- чередование *у* с *в* (*вчинили*);
- отвердение шипящих, *ц, р*;
- наличие фрикативного *г*;
- отсутствие депалатализации переднеязычных *д, т, з, с, ц, н, л* перед гласными переднего ряда **i, *e* (южная граница – северные киевские, житомирские и ровенские говоры);
- наличие флексии *-у* в формах существительных мужского рода Род. пад. ед. ч. (*воску*);
- абсолютное доминирование флексии *-у* (лишь спорадически *-ові*) в существительных мужского рода Дат. пад. ед. ч. (*брату*);
- флексия *-иє* в формах Им. пад. мн. ч. прилагательных, числительных и личных местоимений (*тиє, зелєниє*);
- окончание *-и* прилагательных мужского рода Им. пад. ед. ч. (*молоди*);
- отсутствие аффрикаты *дж* (<**dj*) в глагольных формах 1 лица ед. ч. (*хожу*);
- преобладание флексии *-м* в глагольных формах 1 лица мн. ч. (*кажем*);
- употребление преимущественно флексии *-ть* в инфинитивах (*копати*);

– явление так называемого саканья и цаканья в формах возвратных глаголов (*боюса, смяцца*) [49. Т. 1; 50. С. 56–54] и т.д.

Большинство этих черт последовательно проявляется уже в первых грамотах из великокняжеской канцелярии, а со временем они становятся определяющими в официальном языке не только княжеского двора, но и на пространстве нового внушительного государственного образования. Полесский орфографический узус довольно быстро распространился не только на северных территориях, где он не встретил особенного сопротивления (как видим, именно эти языковые особенности белорусские ученые характеризуют как белорусские, хотя маркирующие белорусские черты – аканье, дзеканье, цеканье в то время уже существовали), но и на юге, где, столкнувшись с совершенно иной фонетикой, нередко побеждал и ее (смещение *e* – **ѣ** и *я* – *e* обнаруживаем и в южноукраинских памятниках). Разумеется, не все названные полесские черты проявлялись в памятниках в равной мере. Сохранялось еще значительное влияние церковнославянского языка, тем не менее, некоторые из них (наиболее выразительные) пробивались через церковнославянский фильтр. Прежде всего это касается судьбы **а* и **ѣ* в зависимости от позиции в слове. Немногие фонетические черты живого языка в письменных памятниках, создававшихся сначала в канцеляриях ВКЛ, а со временем и в РП, нашли такое последовательное отражение в письменном языке того времени, как рефлексация безударных *'а, ѣ > е*. Данные современной диалектологии позволяют довольно точно определить ареал распространения исследуемого явления: северноукраинское наречие – северные говоры современных Черниговской, Киевской, Житомирской, Ровенской областей, крайняя западная граница распространения – течение реки Стыр (*колодез', месец', запрежу, памет'*) [49]; южнобелорусские говоры (*ходз'ец', ход'ет'*) – правый берег Горыни (*пам'ец', зайец, дзесець*) – далее условная линия на север от Березы – среднее течение реки Лань – бассейн Ясельды – южнее Ганцевичей – Бобруйск – Слуцк – севернее Солигорска – Калинковичи – устье Сожи [51]. Эти изоглоссы подтверждают слова Е. Карского о том, что “переход *а* в *е* на самом деле не известен многим белорусским говорам”, это явление “особенно распространено на юге и юго-западе Белоруссии; на юге видим совпадение с подобной чертой северно-малорусских говоров” [22. Т. II. Ч. 1. С. 99, 102]. Почти совпадают они и с приведенными выше границами территории Полесья.

Наиболее стабильно континуант праславянского безударного **ѣ > е* сохраняется именно в говорах правого берега Припяти и в северных районах Ровенской, Житомирской и Киевской областей, т.е. центральных, по нашему мнению, для этого языкового явления. Анализируемая перегласовка преодолевает границы реального распространения ее в живом языке и фиксируется в памятниках, создававшихся фактически на всей территории Белоруссии, а также в Вильно, Троках и несколько реже – в южноукраинских памятниках (чаще в надднепрянских, спорадически в юго-западных).

Считаем, что нет основания довольно частое написание *е, ѣ* на месте безударного *'а < *ѣ* в памятниках с территории Белоруссии и севера Украины связывать с непрямymi проявлениями яканья, как это делает А. Булыка [52. С. 350]. Написания типа *тисеча, паметь* уже в первых грамотах периода ВКЛ с северноукраинских и южнобелорусских земель отражали одну из наиболее характерных полесских разговорных фонетических черт.

Определенная тенденция к разграничению в написании под ударением **ѣ**, без ударения *е* (по В. Курашкевичу) в древнейших грамотах периода ВКЛ с северно-

украинских и южнобелорусских земель со временем нивелируется. Все чаще встречаются написания с *e* и с *u*, что, очевидно, стало следствием влияния собственно белорусской и южноукраинской языковых стихий. При этом нужно учитывать, что составители грамот на всех украинских и белорусских землях пользовались единой орфографией: употреблялись буквы, артикуляционное наполнение которых вообще отсутствовало (*ь*, *ъ*) или писарям было не совсем непонятным (*ѣ*, *ѡ*, *ѣ*). Отсюда и смешение в типичных украинских (перемышльских, галицких) грамотах, которые никак не отражают фонетики живого языка того времени: *печѣрскиеи, зѣмли, вѣлѣли* [53. С. 64].

В заключении сделаем выводы:

1) “Руська мова” не базировалась на живых языковых чертах одного из народов – белорусского или украинского и, несомненно, в период вхождения их в состав ВКЛ для тех и других была общей.

2) “Руська мова” как официальный язык ВКЛ – не новое явление; он возник на почве литературно-письменного языка Киевской Руси – древнерусского.

3) Древнерусский язык в период становления его как официального в ВКЛ из черт живого языка вобрал в себя наибольшее количество полесских особенностей. Этим обусловлена некоторая наддиалектность “русской мовы” (на начальном этапе ее функционирования) на фоне украинской и белорусской языковых систем, которые, очевидно, в живой речи уже проявлялись в своих маркирующих особенностях.

4) Позже (с XVI в.) характерные украинские черты (“украинский комплекс”) с опорой на южноукраинскую основу живого языка все отчетливее начинают проявляться в письменных памятниках и противопоставляются полесским чертам. Со времени безусловных фиксаций черт “украинского комплекса” можно говорить о староукраинском варианте “русской мовы”.

5) “Белорусский комплекс”, так и не проявившись реально в литературно-письменном языке того времени, окончательно совпал с “полесским”. Поэтому с XVI в. можно говорить о старобелорусско-полесском варианте “русской мовы”, который уже отчетливо противопоставлялся староукраинскому.

Перевод с украинского Н.В. Сотник

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Огієнко І.* Розмежування пам'яток українських від білоруських // Пам'ятки України: історія та культура. 2002. № 2.
2. *А.С. (Соболевский?) Бѣлоруссы* // Энциклопедическій словарь. Ф.А. Брокгауз–И.А. Ефрон. СПб., 1891. Т. 9.
3. *Василенко Н.* Литовско-Русское государство // Энциклопедическій словарь. Ф.А. Брокгауз–И.А. Ефронъ. СПб., 1899. Т. 34.
4. *Летописи западно-русские* // БСЭ. М., 1954. Т. 25.
5. *Карский Е.Ф.* Труды по белорусскому и другим славянским языкам. М., 1962.
6. *Русанівський В.М.* Західноруська писемна мова // Українська мова. Енциклопедія. Київ, 2000.
7. *Зволінський П.* Погляди європейських граматистів XV–XIX ст. на українську і білоруську мови // Мовознавство. 1969. № 4.
8. *Ластоўскі У.* Гісторыя беларускай (крыўскай) кнігі. Спроба паясніцельнай кнігопісі ад канца X да пачатку XVIII стагодзьдзя. Ковно, 1926; *Stang Chr.S.* Die westrussische Kancelliersprache der grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935; *Гумецька Л.Л.* Уваги до українсько-білоруських мовних зв'язків періоду XIV–XVII ст. // Дослідження з української і російської мов. Київ, 1964; *Півторак Г.П.* До питання про українсько-білоруську мовну взаємодію донаціонального періоду // Мовознавство. 1978. № 3.

9. *Німчук В.В.* До проблеми розмежування // Пам'ятки України: історія та культура. 2002. № 2.
10. *Kuraszkiewicz W. Peęc.* на кн.: *Stang Chr.S.* Die westrussische Kancleisprache der grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935 // *Ruthenika.* Warszawa, 1985.
11. *Гумецька Л.Л.* Який з трьох назв західноруської літературної мови XV–XVII ст. – “західноруська”, “староукраїнська” і “старобілоруська” – слід віддати перевагу або як ці назви диференціювати у вживанні? // Філологічний збірник. Київ, 1958.
12. *Гумецькая Л.Л.* Вопросы украинско-белорусских языковых связей древнего периода // Вопросы языкознания. 1965. № 2.
13. *Анічэнка У.В.* Беларускія-ўкраінскія пісьмова-моўныя сувязі. Мінск, 1969.
14. *Metģiciana:* Даследаванні і матэрыялы Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. Мінск, 2001. Т. I; 2003. Т. II.
15. *Жураўскі А.І.* Гісторыя беларускай літаратурнай мовы. Мінск, 1967.
16. *Яскевич А.* Старобеларускія граматыкі. Мінск, 1999.
17. *Плюц П.П.* Історія української літературної мови. Київ, 1971; *Німчук В.В.* Походження і розвиток мови української народності // Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. Київ, 1990; *Русанівський В.М.* Історія української літературної мови. Київ, 2001; *Ісаєвич Я.Д.* Мовний код культури // Історія української культури. Київ, 2001. Т. 2.
18. *Німчук В.В.* Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською. Київ, 1980.
19. *Огієнко І.* Історія української літературної мови. Київ, 1995.
20. *Чекмонас В.* Из истории формирования белорусских говоров // Беларуская мова: шляхі развіцця, кантакты, перспектывы: Матэрыялы III Міжнар. кангрэса беларусістаў. Мінск, 2001.
21. *Булаховський Л.А.* Питання походження української мови. Київ, 1956.
22. *Карский Е.Ф.* Белорусы. Варшава, 1903. Т. I; 1908. Т. II. Ч. 1; 1911. Т. II. Ч. 2; 1912. Т. II. Ч. 3; М., 1916. Т. III. Ч. 1; Пг., 1921. Т. III. Ч. 2; Пг., 1928. Т. III. Ч. 3.
23. *Німчук В.В., Симонова К.С.* Передмова // Ділова мова Волині і Наддніпрянщини XVII ст. Київ, 1981; *Німчук В.В.* Підкоморські книги Правобережної України кінця XVI – першої половини XVII ст. // Книга Київського підкоморського суду (1584–1644). Київ, 1991; *Матвієнко А.М.* Передмова // Волинські грамоти XVI ст. Київ, 1995; *Мойсієнко В.М.* Акти Житомирського уряду кінця XVI початку XVII ст. – важливе джерело вивчення тогочасної української літературно-писемної мови // Акти Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. Житомир, 2004; *Мойсієнко В.В., Німчук В.В.* Герасим Смотрицький та його “Ключ царства небесного...” // *Герасим Смотрицький.* Ключ царства небесного. Житомир, 2005.
24. *Огієнко І.* Українська літературна мова XVI століття. і. Крехівський “Апостол” 1560 року. Варшава, 1930.
25. *Halecki O.* Litwa, Ruś, źmudź, jako części składowe Wielkiego Księstwa Litewskiego // *Rozprawę historyczno-filozoficzne Akademji Umiejętności w Krakowie.* 1916. Т. LIX.
26. Передмова // Історичний словник українського язика. Київ; Харків, 1930. Т. 1.
27. Гістарычны ўслонкі беларускай мовы. Мінск, 1982. Вып. 1.
28. *Толстой Н.И.* Взаимоотношение локальных типов древнеславянского языка позднего периода (вторая половина XVI–XVII вв.) // *Славянское языкознание.* М., 1963.
29. *Мозер М.* Что такое “простая мова”? // *Studia Slavica Hungauica.* 47/3–4. Budapest, 2002.
30. *Мякишев В.* “Русская мова” Литовского Статута 1588 года и виленских актовых книг XVI века // *Studia Russica.* XVII. Budapest, 1999.
31. *Miakiszew W.* “Мовы” Великого княжества Литовского в единстве своих противоположностей // *Studia Russica.* XVIII. Budapest, 2000.
32. *Свежинский В.М.* К вопросу об источниках белорусской исторической диалектологии // *Лингвистическая география и проблемы истории языка.* Нальчик, 1981. Ч. II.
33. *Антонович А.К.* Белорусские тексты, писанные арабским письмом. Вильнюс, 1968.
34. *Falowski A.* Język ruskiego przekladu Katechizmu Jezuickiego z 1585 roku. Kraków, 2003.
35. *Каманин И.М.* Палеографический изборникъ. Матеріалы по історії южно-русскаго письма въ XV–XVIII вв. Киев, 1889.
36. *Мойсієнко В.М.* Українська пам'ятка з виразними ознаками живого мовлення // Волинь-Житомирщина. 2003. № 11.

37. *Клімаў І.П.* Мова перекладу Евангелля В. Цяпінскім. Автореферат... канд. філол. наук. Мінск, 1997.
38. *Smułkowa E.* O polsko-białoruskie związkiac językowyc w aspekcie czasowym i terytorialnym // *Smułkowa E.* Białorus i pogranicza. Warszawa, 2002.
39. *Kurkowa Z.* Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w. Warszawa; Kraków, 1993.
40. *Czyżewski F., Warchol S.* Polskie i ukraińskie teksty gwarowe ze wschdniej Lubelszczyzny. Lublin, 1998.
41. *Turska H.* Leksykalne pożyczki białoruskie w języku polskim (doba staropolska) // Sprawozdania z prac naukowych Wydziału Nauk Społecznych. Warszawa, 1970. Z. 2.
42. *Стрижак О.С.* Велике Полісся // Ономастика Полісся. Київ, 1999.
43. *Мороз М.А.; Чаквин И.В.* Полесье как историко-этнографическая область, ее локализация и границы // Полесье. Материальная культура. Киев, 1988.
44. *Киркор А.К.* Долина Припяти // Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. СПб., М., 1882. Т. 3. Ч. 2. Белорусское Полесье.
45. *Толстой Н.И.* О лингвистическом изучении Полесья // Полесье (лингвистика, археология, топонимика). М., 1968.
46. *Кухаренко Ю.В.* Полесье и его место в процессе этногенеза славян. (По материалам археологических исследований // Полесье (лингвистика, археология, топонимика). М., 1968.
47. *Михальчук К.П.* Карта южнорусских наречий и говоров // Атлас української мови. Київ, 2001. Т. 3. Карта V; *Ганцов Вс.* Діалектологічна класифікація українських говорів. Київ, 1923; *Зілинський І.* Карта українських говорів (1933) // Атлас української мови. Київ, 2001. Т. 3. Карта VII; *Дурново Н.Н., Ушаков Н.Н., Соколов Н.Н.* Діалектологічска карта русскаго языка въ Европѣ (1914) // Атлас української мови. Київ, 2001. Т. 3. Карта VIII.
48. *Бирнбаум Х.* Славянская прародина: новые гипотезы // Вопросы языкознания. 1988. № 5; *Гимбутас М.* Славяне. Сыны Перуна. М., 2003; *Филин Ф.П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. М., 1972; *Бернштейн С.Б.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.
49. Атлас української мови. Київ, 1984. Т. 1. Карти 48, 49, 52, 53; 1988. Т. 2. Карти 42, 44, 45, 46; 2001. Т. 3. Ч. 3. Карти 4, 10.
50. *Климчук Ф.Д., Кривицкий А.А., Никончук Н.В.* Полесские говоры в составе белорусского и украинского языков // Полесье. Материальная культура. Киев, 1988.
51. Дыялекталагічны атлас беларускай мовы. Мінск, 1963. Карта 19; Лінгвістычная географія і групоўка беларускіх гаворак. Мінск, 1969. Карты 23, 27.
52. *Булыка А.М.* Адлюстраванне фанетычных рыс беларускай мовы ў выданнях Ф. Скарыны // 450 год беларускага кнігадрукавання. Мінск, 1968.
53. *Жовтобрюх М.А.* Староукраїнські грамоти як пам'ятки літературної мови // Мовознавство. 1976. № 4.



© 2007 г. Л. В. ЛУХОВИЦКИЙ

ГРЕЧЕСКИЙ ОРИГИНАЛ “НАПИСАНИЯ О ПРАВОЙ ВЕРЕ” КОНСТАНТИНА ФИЛОСОФА: СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Одним из самых перспективных направлений в современном византиноведении является сравнительное филологическое исследование ранних славянских переводов византийских памятников и их греческих прототипов. В некоторых случаях при помощи текстологического анализа удается установить, что славянский текст предлагает лучшие чтения по сравнению с греческим, в том виде, как он сохранился к настоящему моменту. Однако иногда уже сам факт обнаружения славянского перевода заставляет еще раз обратиться к вопросам, которые, казалось бы, должны были быть решены исключительно в рамках “чистого” византиноведения.

Примером подобного рода служит ситуация, сложившаяся в сфере изучения наследия св. Никифора патриарха Константинопольского (758–829 гг.) после обнаружения славянского перевода вероисповедального фрагмента его богословско-полемического антииконоборческого трактата “*Apologeticus atque Antitheticus*”¹, получившего на славянской почве название “Написание о правой вере” и атрибутируемого в рукописях обеих редакций (среднеболгарской и русской) Константину Философу (первую публикацию по теме см. [3]; билинейно-спатическую – [4. С. 17–43]). Несмотря на то, что авторы открытия выполнили полный текстологический анализ перевода и частично проследили его бытование на славянской почве, до сих пор без ответа остается ряд вопросов, связанных с тем, как почти неизвестный в самой Византии текст смог попасть в руки если не самого Константина Философа, то, по крайней мере, кого-то из его близкого окружения. Кроме того, до сих пор не были предприняты попытки установить, существовал ли на греческой почве оригинал “Написания” в качестве самостоятельного произведения и, если это так, каким образом он может быть соотнесен с известным корпусом текстов Никифора с точки зрения датировки и целей создания.

Луховицкий Лев Всеволодович – аспирант кафедры византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ.

¹ Части трактата опубликованы в порядке, не соответствующем тому, как они представлены во всех известных рукописях, в качестве отдельных произведений в: [1. Cols. 205–832]. Условное название предложено в: [2. P. 167–173].

Традиционно считается, что Никифор как автор богословских сочинений практически не был известен в самой Византии. В основе такого представления – скудость рукописной традиции (для интересующего нас трактата это всего четыре рукописи), а также полное отсутствие прямых ссылок на его произведения у более поздних авторов (начиная с конца IX в., т.е. всего через несколько десятилетий после смерти самого Никифора). Исследователями было установлено, что основной корпус богословско-полемиических сочинений был создан низложенным патриархом в период ссылки (815–829 гг.) [2. Р. 182–188] и после его кончины (но до 842 г.) собран его учениками в два тома, в первый из которых вошел трактат “*Apologeticus atque Antirrheticus*” (см. [5. Р. 14–15]). Именно к этому двухтомному собранию восходят все известные на сегодняшний день рукописи Никифора, наиболее авторитетной из которых является кодекс *Par. gr. 911* середины X в. (см. об этом [5. Р. 8–9]). Впоследствии эти тексты вместе с личным архивом Никифора перешли к новому патриарху Мефодию и активно использовались авторами, работавшими под его покровительством в период с 843 по 847 г. (Георгием Монахом, Игнатием Диаконом, автором Жития Никифора, Феофаном Пресвитером, автором речи на перенесение мощей Никифора, и др.) (см. [6. Р. 125–128]). Произведения этих авторов отличались антистудитской направленностью и после перехода архива Никифора–Мефодия в руки нового патриарха Игнатия (847 г.), сочувствовавшего студитам, вместе с произведениями самого Никифора были перевезены в Студийский монастырь, где оказались недоступны уже следующему патриарху – Фотию, работы которого не содержат каких-либо следов знакомства с богословско-полемиическими произведениями Никифора [6. Р. 129–133].

Таким образом, в том случае, если автор славянского перевода ознакомился с текстом исповедания веры Никифора в рамках всего трактата, он должен был сделать это или в период с 843 по 847 г., оказавшись в окружении Мефодия и получив доступ к его архиву, либо в период после 847 г. уже в Студийском монастыре. С другой стороны, логично предположить, что автор перевода работал с греческим текстом, воспринимая его не как фрагмент, а как законченное произведение. Если такая гипотеза будет подтверждена, то окажется, что мы имеем дело с самостоятельной линией передачи текста, не связанной с “двухтомником”. Чтобы установить, могло ли исповедание веры функционировать в качестве самостоятельного произведения, необходимо более подробно проанализировать его структуру и понять, какую роль оно играло в рамках всего сочинения.

Исповедание веры занимает 6 глав трактата (с 18 по 23) и располагается в начале его первой части, собственно *Apologeticus Maior*, которая посвящена опровержению тезиса иконоборческого собора 754 г. о том, что христиане под видом икон поклонялись идолам и император Константин V избавил их от этого идольского служения. Эта часть является вводной по отношению к трем последующим, основным (так называемым Антирретикам), с одной стороны, посвященным опровержению иконоборческих сочинений Константина V, а с другой – представляющим собой обращение к правящему императору Льву V, восстановившему иконоборчество и отправившему Никифора в ссылку. Эти два уровня тесно переплетены, однако филологический анализ позволяет их разграничить и установить, что на одном из них используется строго философская аргументация, доводящая логическими построениями посылки оппонента до абсурда, в то

время как на другом все обвинения и предостережения строятся исключительно в политической плоскости.

Помимо своей основной задачи (т.е. опровержения тезиса о поклонении идолам), *Apologeticus Maior*, представляя собой вводную часть, призван, во-первых, оправдать обращение в дальнейшем именно к работам Константина V, т.е. доказать, что истинным изобретателем и лучшим выразителем иконоборческой ереси является именно он, а во-вторых – при помощи собрания патристических свидетельств, помещенных в самом конце, подтвердить тезис о неприемлемости каких-либо изысканий относительно веры (подобных тем, что проводил Константин V) и об абсолютном приоритете простой веры над любыми рассуждениями и логическими доводами.

Интересующее нас исповедание веры помещено в самое начало *Apologeticus Maior*, в условно выделяемую “соборную” часть трактата: после формулирования основной задачи (опровергнуть построения “изобретателя и отца отступничества” [1. Col. 560B], т. е. Константина) и описания социальной базы новых идеологов иконоборчества (гл. 5–16) и перед собственно опровержением аргумента противников об идолослужении (гл. 26 и далее) Никифор помещает рассказ об иконоборческом соборе 754 г. (гл. 17) и Соборе 787 г., восстановившем иконопочитание (гл. 25). Именно между описанием этих двух соборов и расположено исповедание.

Структурно в исповедании выделяются три части: триадологическая, христологическая и иконологическая. При этом части не равны по объему, вопреки ожиданиям, наиболее развернуто дана не третья, а вторая часть (по своему построению она, в свою очередь, распадается на две части – опровержение ересей монофизитства и монофелитства). Каждая часть завершается отречением от ересиархов: в триадологической части – это Савелий и Арий, в антимонофизитской – Евтихий и Несторий, в антимонофелитской – Аполинарий, Сергей и Пирр². Параллельная структура подчеркивается переходами от одной части к другой, в которых выражена центральная мысль всего трактата: все ереси – суть одно и то же заблуждение и они повторяются и усиливаются с тем, чтобы вылиться в самую страшную и объединяющую все предыдущие – ересь иконоборчества, сформулированную Константином V. Таким образом, оказывается, что “Евтихий в сравнении с Несторием заблуждался относительно домостроительства точно так же, как Савелий в сравнении с Арием в отношении богословия” ([1. Col. 588BC], славянский текст см. [4. С. 35]). Православие предстает узким и трудным путем между двумя, на первый взгляд диаметрально противоположными заблуждениями, которые в действительности влекут в одну и ту же бездну³.

² Отсутствие в этом списке Папы Гонория вопреки мнению некоторых исследователей не может рассматриваться как свидетельство большего или меньшего уважения со стороны Никифора по отношению к Римскому престолу. Как было убедительно продемонстрировано О'Коннеллом, Никифор очень неспокоен в своем отношении к нему и при перечислении еретиков-монофелитов приблизительно в половине случаев опускает имя Гонория [7. P. 73–74].

³ Ср. вновь и вновь возникающий на протяжении трактата при описании противников мотив слепоты, потери ориентации в пространстве и падения в пропасть. Например, в одном месте Никифор говорит о том, что его оппоненты “подобны... бредущим в глубокой тьме по неровной и крутой дороге, усыпанной множеством колючек и шипов, которые подвергаются невыносимым страданиям и бесчисленным опасностям, проистекающим от падений, вызванных слепотой” [1. Col. 785A].

Каждая новая часть начинается с краткого повторения того, что было сказано в предыдущей. Таким образом, сохраняется строгая логическая структура: все три сферы оказываются тесно переплетены и переход к следующей возможен только после обоснования предыдущей. Никифор использует специальную лексику, призванную подчеркнуть логичность перехода: завершив изложение триадологических догматов, он приступает к христологической части, специально подчеркивая: “Так (οὕτω) утверждаясь и основываясь на таком... богословии, мы соответственно (ἐπομένως) ему исповедуем...” ([1. Col. 584AB], славянский текст [4. С. 24–25]). Подобным образом оформлен и переход между двумя христологическими частями: “Поскольку мы исповедуем во Христе две совершенные природы (τῶν τοῖνυν... δύο φύσεων τελείων ὁμολογουμένων), как по существу, так и по природным качествам соответственно следует вместе с тем исповедовать (συνομολογεῖν ἀκολούθως δεῖσει) и присущие каждой природе природные воли и действия, ибо необходимо (ἀνάγκη γάρ), по признании сущностей двойными, провозгласить двойными и их” ([1. Col. 588C], славянский текст [4. С. 35–36]). Использование лексики и оборотов, типичных не для традиционного исповедания веры, а для философского рассуждения, преследует свою цель: показывая взаимосвязь и логически обусловленную взаимозависимость различных сфер богословского знания, Никифор демонстрирует и преемственность ересей. Таким образом, любая ересь (в данном случае, разумеется, иконоборчество) в действительности по необходимости является и триадологической, и христологической ересью.

В ряде случаев для доказательства правомочности того или иного утверждения Никифор отступает от основной темы и иллюстрирует свое рассуждение соображениями общего характера, оформленными в манере, характерной для философских жанров. Так, в антимонотелитском фрагменте Никифор говорит следующее: “...доказательством этому (τεκμήριον δὲ) – тот факт, что у вещей, обладающих различной сущностью и различным принципом бытия (ὁ τοῦ πῶς εἶναι λόγος) (что явственно видно на примере вещей различной природы), по необходимости (ἀνάγκη γάρ) различны и сущностные качества (οὐσιώδεις ποιότη-τας), связанные с волей и действием; именно через эти качества мы получаем знание о природе вещей, поскольку у тех вещей, у которых действия одинаковы, равноценны и природы”⁴ ([1. Cols. 588D–589A], славянский текст [4. С. 37]).

В том, насколько нетипична такая манера организации вероисповедального фрагмента, можно убедиться, сопоставив интересующий нас отрывок с другим исповеданием веры, принадлежащим Никифору, но составленным в иных условиях и с иными целями. Это гораздо более пространное исповедание относится к более раннему периоду и включено в интронизационное письмо, адресованное Никифором Папе Льву III в 811 г. (через 5 лет после поставления патриархом, поскольку до этого момента император Никифор по политическим причинам препятствовал официальным контактам с Римом) [8. Cols. 181C–193D]. Традиционная точка зрения заключается в том, что эти исповедания практически идентичны и более позднее, включенное в *Apologeticus atque Antirrhethici*, является переработкой более раннего. Такая точка зрения была высказана уже издателем Никифора (по его словам, исповедание из письма Льву III по сравнению с

⁴ По всей видимости, славянский переводчик не понял сложный философский термин ὁ τοῦ πῶς εἶναι λόγος и перевел его просто как “слово... о нихъ” [4. С. 37. Стр. 295–296], чему, скорее, должно соответствовать греческое ὁ περὶ αὐτῶν λόγος.

интересующим нас всего лишь изложено иными словами [1. Col. 579–580. Note 42]) и поддержана более поздними исследователями [7. P. 73. Note 18]. Однако при сравнении двух текстов оказывается, что расхождения не ограничиваются различиями, обусловленными временем и целями создания (в более раннем исповедании нет намеков на современных еретиков, поскольку иконоборческая политика возобновится только в 814 г.; глаголы первого лица стоят в единственном числе, поскольку нет необходимости в том, чтобы говорить от имени всех православных, что для целей *Apologeticus Maior* было необходимо), объемом исповедания⁵, а также выбранной композицией (в раннем исповедании не выделена в качестве самостоятельного раздела антимонофелитская часть). При внимательном прочтении выясняется, что части исповедания из письма Льву III не соединены логическими переходами, как это было в более позднем исповедании, также нет повторов и подведения итогов предыдущей части, которые бы показывали взаимосвязь и преемственность. Полностью отсутствует какая бы то ни было сложная философская терминология.

Объяснением этому может служить эволюция авторской манеры. Так, П. Александер утверждает, что “схоластический период” в развитии иконопочитательской аргументации, когда поклонение священным изображениям оправдывалось при помощи аристотелевской школьной логики, начинается у Никифора только в период ссылки, т.е. в 815 г. [2. P. 189–190, 198]. Однако логичнее предположить, что различия обусловлены полемической задачей, которую ставил перед собой Никифор. Составляя письмо Льву III, Никифор стремился выстроить свою речь изысканно и учтиво, но в то же время у него не было цели доказать что-либо своему адресату. Именно поэтому, с точки зрения литературного мастерства, исповедание из письма Льву III выстроено более красиво⁶.

С другой стороны, только в раннем исповедании Никифор мог пренебречь точностью и использовать центральное для всей иконоборческой полемики слово “описание” (*περιγραφή*) нетерминологически, в традиционном бытовом значении “ограничение”. Говоря о единоначалии в Святой Троице, он поясняет, что его следует понимать “не как ограничение одним Лицом (*οὐχ ἡ ἐνὸς προσώπου περιγραφή*)... но как равночестность природы” [8. Col. 184C]. Такое употребление демонстрирует, что в период составления письма Никифор, если и был знаком с иконоборческой аргументацией Константина V, то, по крайней мере, не задумывался о ее опровержении.

В исповедании из *Apologeticus atque Antirrhethici*, напротив, употребление слов, которые могут быть поняты двояко, всегда строго терминологично. В первую очередь это касается именно пар *περιγραφή* (описание-ограничение) – *ῥαφή* (написание-изображение) и *περιγραπτός* (описуемый) – *ῥαπτός* (изобразимый). Никифор, говоря о человечестве и божестве Христа специально подчеркивает, что, как Бог, Он сохранил все свойства своей природы и остался неопикуем (*ἀπεριγραπτός* [1. Col. 585C], **неописанъ** [4. С. 32. Стр. 217], и, в то же время, как человек стал и описуем, и изобразим (*ῥαπτός τε καὶ περιγραπτός* [1. Col. 585D], **списанъ же и описанъ** – [4. С. 32. Стр. 220–221]). Внимание автора к вопросу о

⁵ Во вступлении к исповеданию, включенному в *Apologeticus Maior*, специально подчеркивается, что оно будет представлено в максимально сжатом виде ([1. Col. 580C]).

⁶ По словам О’Коннелла, оно представляет собой одно из наиболее изящных произведений когда-либо написанных греками [7. P. 72].

природных свойствах человечества и божества во Христе становится понятно только по прочтении всего трактата. Один из главных упреков Никифора Константину V – неумение употреблять слова в их терминологическом значении и смешивание несовместимых понятий. Именно на таком упреке строится весь второй Антирретик, посвященный разбору аргумента Константина о неизобразимости Христа, которая выводится из неопишуемости одной из Его природ [1. Col. 332B]. Главы 12–16 второго Антирретика целиком посвящены разграничению понятий “описуемость” и “изобразимость”, а в 19-й главе Никифор, обобщая все изложенное ранее, делает окончательный вывод: изображение Христа в красках не делает Его описуемым, а Его изображения допустимы не в связи с Его описуемостью или неопишуемостью, но исключительно благодаря Его изобразимости ... ἄλλὰ γράφομεν οὐ καθὼ περιγράφεται, ἀλλὰ καθὼ γράφεσθαι πέφυκε σωματικῶς... αἱ εἰκόνες, οὐ καθὼ περιόγραπτός, ἀλλὰ καθὼ γραπτός, γινωρίζουσι πᾶσιν αὐτὸν (но мы изображаем [Его] не потому что Он описуем, а потому что Он по своей телесной природе изобразим... Иконы провозглашают Его всем не потому что Он описуем, а потому что Он изобразим) [1. Col. 369C].

В качестве подобного рода отсылок к последующим рассуждениям можно трактовать и другие пассажи исповедания. В частности, подтверждая, что Христос в действительности принял страсти своей человеческой природой и пострадавшее тело принадлежало Ему в полной мере, Никифор замечает, что Христос “во всем... являл смирение человеческой нищеты, чтобы домостроительство не было сочтено призрачным” (ἵνα μὴ φαντασία ἢ οἰκονομία νομισθῆ) [1. Col. 588A], да не привидѣние съмотрение бж҃іе възнпщевано бждеть [4. С. 33. Стр. 239–240]. Впоследствии это слово, “φαντασία”, станет ключевым для очередного обвинения, выдвинутого Никифором против иконоборцев – последователей Константина V. Утверждая, что его противники впадают в ересь докетизма, Никифор объясняет, что они “воображают, будто Господь воплотился и был распят призрачным образом (ἐν φαντασίᾳ)” [1. Col. 332B]⁷.

Вышеприведенный анализ со всей определенностью доказывает, что исповедание – прототип “Написания о правой вере” – было создано специально для трактата Apologeticus atque Antirrheticus и вписывается в его композиционную организацию и полемические задачи. Таким образом, время создания исповедания определяется как 815 (иконоборческий собор при Льве V) – 820 (смерть Льва V) гг. В то же время ряд соображений позволяет предположить, что уже после завершения трактата Никифор посчитал полезным распространить более широко одну из его частей – такой частью стало именно рассмотренное исповедание веры. Когда и при каких условиях это могло произойти

Традиционное представление о том, что деятельность Никифора в ссылке в течение почти 15 лет была однообразна и изменения в жизни империи никак не отражались на ней, никак не согласуется с картиной, которую рисуют источники. Известно, что после убийства Льва V (декабрь 820 г.) и восхождения на престол Михаила II (весна 821 г.), Никифор на время оставил свои крупные богословско-полемические сочинения и стал активно контактировать как с представителями иконопочитательского лагеря (в частности с Феодором Студитом), так и с новыми властями. К этому периоду относится по меньшей мере два кратких сочинения Никифора, призванных решить насущные практические вопро-

⁷ Ср.: ἀληθές τε καὶ μὴ φαντασία νομισθῆ τὸ τῆς ἀναστάσεως μυστήριον (дабы не сочли призрачным таинство Воскресения) [1. Col. 440B].

сы. Это, во-первых, несохранившееся послание новому императору, содержание которого подробно изложено в Житии Никифора [9. Р. 209], а также предназначенные для широкого хождения “12 глав против иконоборцев” (см. [10. Р. 454–460], созданные Никифором в ответ на предложение Михаила II возобновить церковное общение с иконоборцами (подобный анализ см. [11]).

Если прочитать интересующее нас исповедание веры как самостоятельное произведение в контексте политической ситуации начала 820-х годов и в соотнесении с указанными источниками, станет очевидно, что оно идеально подходит для полемических целей, которые на данном этапе мог ставить перед собой Никифор. Это было максимально сжатое изложение основ веры и в то же время история всех когда-либо существовавших ересей, а также строго логическое доказательство их взаимозависимости и преемственности. Если “12 глав” полностью исключали примирение с иконоборцами на каноническом уровне, то исповедание, пущенное в широкое хождение, препятствовало примирению на догматическом уровне, демонстрируя неразрывную связь иконоборчества с арианством, докетизмом и несторианством. Косвенным подтверждением предположения о бытовании исповедания в качестве самостоятельного произведения является тот факт, что оно (с небольшими изменениями) встречается еще у одного автора середины IX в. – у Петра Монаха, автора Жития св. Иоанникия [12. Cols. 417В–420С] (впервые отмечено Д.Е. Афиногеновым в [13. S. 445]). Вероятность того, что один и тот же фрагмент пространного и сложного по структуре и языку трактата был независимо заимствован двумя авторами, крайне мала.

Предложенная гипотеза существенным образом усложняет традиционное представление о судьбе сочинений патриарха Никифора и создает дополнительные трудности при анализе “Написания”, в то же время открывая перед исследователем новые возможности. Очевидно, что метод, примененный издателями славянского текста, когда конъектуры в публикуемый текст вносились на основе сопоставления чтений Сборника 1348 г. и чтений, предлагаемых рукописью № 682 из Ватиканской библиотеки, на которую ориентировано издание Миня, не может быть признан эффективным, поскольку не учитывает ни возможные трансформации, которые претерпел текст исповедания в процессе бытования на славянской и греческой почве, ни редакторскую правку, внесенную самим автором в 821 г.

На наш взгляд, каждое расхождение между чтениями славянской рукописи и издания Миня может рассматриваться с четырех точек зрения. Его причиной может оказаться:

- а) редакторская правка Никифора;
- б) корректуры и добавления, внесенные в текст Апологетика⁸ на греческой почве (после создания двухтомника);
- в) изменения, внесенные в процессе перевода⁹;
- г) корректуры и добавления, внесенные в текст “Написания” на славянской почве.

⁸ Если перевод в действительности был осуществлен в окружении Константина Философа, маловероятно, чтобы текст исповедания, получивший самостоятельное хождение, был скопирован еще раз между 821 г. и временем перевода.

⁹ Именно так объясняют большинство расхождений издателя “Написания”, выделяя в числе подобных изменений отдельно случаи ментализации, редактуры и аппроксимации [4. С. 67–77].

Определение причины возникновения расхождения в каждом конкретном случае возможно при сопоставлении чтений Сборника 1348 г. с чтениями исповедания, сохранившегося в Житии Иоанникия, греческих рукописей *Apologeticus atque Antirrheticus* № 910 и № 911, находящихся в Парижской национальной библиотеке, а также изборника русской редакции из собрания Государственного исторического музея, коллекция Барсова, № 1498.

Тем не менее, уже на данном этапе, без обращения к указанным источникам, можно высказать предположения относительно некоторых расхождений. Славянскому тексту [4. С. 41. Стр. 357–362], посвященному Вселенским Соборам, в опубликованном греческом тексте нет соответствия. Очевидно, что эти слова не могут восходить к изначальному тексту Апологетика, поскольку в нем само исповедание представляет собой часть раздела, посвященного Соборам, и подобная отсылка в его рамках была бы излишней. С другой стороны, синтаксис последующего предложения не позволяет предположить, что мы имеем дело с редакторской правкой Никифора (теоретически в рамках отдельного произведения пассаж о Соборах звучал бы уместно): на строках 356–357 той же книги Е.М. Верещагина читаем: “и инѣхъ въсѣхъ стѣхъ оугождьшихъ емоу отъ вѣка” ([1. Col. 589D]: καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἁγίων τῶν ἀπ’αἰῶνος αὐτῷ εὐαρεστησάντων), после пассажа о Соборах у Верещагина на строках 361–362: “также и чьстныи нхъ памати твореще” [1. Col. 589D]: ὧν καὶ μνήμας εὐσεβοῦντες ἡροῶμεν). Несомненно, местоимение ὧν в греческом тексте относится к святым, а не к Соборам, как следует из славянского текста. Таким образом, данное расхождение связано либо с работой переводчика, либо с изменениями, внесенными при копировании славянского текста.

С другой стороны, разночтения в первой части этого же предложения имеют иную природу: в греческом тексте перед καὶ τῶν ἄλλων ἀπάντων ἁγίων читается καὶ τῶν ἁγίων ἀγγέλων, в то время как в славянском тексте после “стѣ аггль” добавлено “и стѣхъ и славныхъ аггъ и мнкъ” (Верещагин, строки 355–356). Несомненно, употребление местоимения ἄλλων (инѣхъ – строка 356) имеет смысл только в том случае, если после ангелов, как в славянском, упомянуты апостолы и мученики. Таким образом, в греческом тексте, с которого осуществлялся перевод, на месте “и стѣхъ и славныхъ аггъ и мнкъ” стояло не сохранившееся в опубликованном тексте καὶ τῶν ἁγίων καὶ ἐνδόξων ἀποστόλων καὶ μαρτύρων.

Текстологическое значение “Написания” весьма велико: представляя собой свидетельство о совершенно независимой от известной нам по греческим рукописям линии передачи текста, “Написание”, бесспорно, должно использоваться при подготовке критического издания *Apologeticus atque Antirrheticus*. В том случае, если будет доказано, что перевод в действительности восходит к середине IX в., чтения славянского текста будут приоритетными по отношению к любым греческим.

Установление времени осуществления перевода также должно быть основано на сопоставлении на языковом уровне оригинального текста (в том виде, как он сохранился) и перевода. Показательным с этой точки зрения может стать, например, следующее переводческое решение: на строках 33–34 в книге Верещагина [4. С. 19] читается “единъ свѣтъ надъ всѣмъ миромъ трьмѣсаченъ и трьслаченъ”, греческим соответствием фразе является ἐν ὑπερκόσμιον τρισοφεγγές καὶ τρισήλιον φῶς [1. Col. 581A]. Издатели текста рассматривают перевод слова τρισοφεγγές – “трѣмѣсаченъ” как случай аппроксимации и утверждают, что между словами “нет полного семантического соответствия”, но пе-

редается “общая идея света”, и замечают, что ожидаемой была бы калька “**трьсѣлѣньнѣ**”, а “**трьмѣсаченѣ**” соответствует греческому τρισελήνιον [4. С. 74–75] В действительности, необходимо помнить, что ко времени перевода (когда бы он ни был осуществлен) греческий язык по сравнению с классической эпохой претерпел существенные изменения. И даже если для выдерживающего классический слог Никифора слова с корнем φέγγ- не имеют прямого отношения к луне (а именно таково значение средне- и новогреческого слова τὸ φέγγυάριον), то для его переводчика, несомненно, противопоставление φέγγυάριον – ἥλιος гораздо более актуально, нежели σελήνη–ἥλιος. Именно такие переводческие решения, основанные на недопонимании или своеобразном истолковании источника, могут пролить свет как на время создания перевода, так и на остающуюся пока загадкой личность самого переводчика.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Nicephori CPolitani Apologeticus atque Antirrheticus // Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca / Ed. J.P. Migne. Paris, 1860. Т. 100.
2. Alexander P.-J. The Patriarch Nicephorus of Constantinople: Ecclesiastical Policy and Image Worship in the Byzantine Empire. Oxford, 1958.
3. Юрченко А. И. К проблеме идентификации “Написания о правой вере”. Доклад на Первой Международной научной церковно-исторической конференции, посвященной Тысячелетию Крещения Руси (Киев, 21–28 июля 1986 года) // Балто-славянские исследования. 1985. М., 1987.
4. Верецагин Е. М. Церковнославянская книжность на Руси. Лингвотекстологические разыскания. М., 2001.
5. Blake R. Note sur l'activité littéraire de Nicéphore Ier Patriarche de Constantinople // Byzantion. 1939. № 14. Fasc.1.
6. Afinogenov D. Did the Patriarchal Archive End up in the Monastery of Studios? Ninth Century Vicissitudes of Some Important Document Collections // Monastères, images, pouvoirs et société à Byzance / Sous la direction de Michael Kaplan. Paris, 2006. (Byzantina Sorbonensia 23).
7. O'Connell P. The Ecclesiology of St. Nicephorus I (758–828). Roma, 1972. (Orientalia Christiana Analecta 194).
8. Nicephori CPolitani Epistola ad Leonem III Papam // Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca / Ed. J.P. Migne. Paris, 1860. Т. 100.
9. Ignatii Diaconi Vita Nicephori // Nicephori opuscula historca / Ed. C. de Boor. Lipsiae, 1880.
10. Papadopoulos-Kerameus A. Analecta Ierosolymitikes Stachyologias. СПб., 1891. Т. I.
11. Grumel V. Les “Douze Chapitres Contre les Iconomaques” de Saint Nicephore de Constantinople // Revue des Études Byzantines. 1959. № 17.
12. Petri Vita Ioannicii / Ed. J. van den Gheyn // Acta Sanctorum. Novembris. Paris, 1894. Vol. II. P. I.
13. Afinogenov D. The Date of Georgios Monachos Reconsidered // Byzantinische Zeitschrift. 1999. № 92. Heft 2.



© 2007 г. Н. В. ЧВЫРЬ

В ПОИСКАХ СВОЕГО ПРОШЛОГО: ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БОЛГАР-КАТОЛИКОВ XVIII ВЕКА

Образ “своего прошлого” – один из ключевых факторов самоидентификации любой общности. В эпоху формирования наций исторические представления выходят на первый план общественного сознания, так как именно они в определенной степени и способствуют актуализации национального чувства¹. Так, известно, какое влияние оказало сочинение Паисия Хилендарского “История славяноболгарская” (1762) на развитие болгарского национального самосознания в XVIII – первой половине XIX в. Созданная им картина болгарского прошлого была активно востребована болгарским обществом на протяжении ста лет, определяла и формировала основные константы национального самосознания: этнические стереотипы восприятия соседних народов и автостереотип, включавший представления о “золотом веке” болгарской государственности, о болгарском православии (в частности вопрос о болгарской автокефальной церкви), о “болгарской катастрофе” (т.е. османском завоевании) и т.д. Изучение текстов последователей Паисия представили богатый материал для исследования исторического сознания болгарского народа, преимущественно его православного большинства [6–12], в то время как историческое сознание двух других болгарских субэтносов (католического и мусульманского) не рассматривалось. В связи с этим в данной статье будет уделено внимание историческим сочинениям, созданным во второй половине XVIII в. представителями болгаро-католической общности. Несмотря на то, что основная часть анализируемых источников уже давно была введена в научный оборот, целостного исследования сущности и своеобразия исторической мысли болгар-католиков предпринято не было. Определенные результаты были достигнуты в изучении исторических воззрений лишь отдельных авторов [13–17].

Начало истории этой этноконфессиональной группы уходит в Средние века: первоначально (в XIII–XIV вв.) католические общины на территории Болгарии имели ярко выраженный иноэтничный характер: это были дубровницкие колонии, присутствовавшие практически во всех крупных городах (в Софии, Силист-

Чவர்ь Нина Владимировна – соискатель Института славяноведения РАН.

¹ Проблема влияния исторических представлений на формирование национального самосознания и, соответственно, на процессы складывания наций в последние десятилетия привлекает внимание представителей разных гуманитарных дисциплин [1–5].

ре, Провадии, Шумене, Разграде, Варне и т.д.), а также поселения саксонцев-рудокопов, осевших в северо-западной Болгарии. После завоевания Венгрией Видинского княжества в 1365–1369 гг. на этих территориях получила распространение миссионерская деятельность братьев францисканцев, в результате которой около трети местного населения приняли католичество. Потомки этих принявших католичество горожан и представителей феодальной аристократии вместе с ассимилированными саксонцами и составили более развитую (в культурном и социально-экономическом отношении) часть болгаро-католической этноконфессиональной общности, значительно отличающуюся от второй группы, состоявшей, преимущественно, из окатоличенных павликиан, которые, по-видимому, сознательно дистанцировались от старокатолического населения [18. С. 123]. При очевидной неоднородности болгаро-католической этноконфессиональной группы все же, можно предположить, что общая численность католиков на болгарских территориях в XVII в. составляла примерно 15 тыс. человек (из 1.5 млн христиан, т.е. 1%) при общей численности этнических болгар – 2 млн человек [19. С. 716].

Уже с середины XVI в. принято говорить об устойчивом присутствии немногочисленных компактных католических общин на территории Болгарии – в северо-западном районе, в болгарских поселениях Чипровцы, Клисурса, Копиловец и Железна. XVII век признается периодом расцвета болгаро-католической общности: экономический рост, дальнейшая институционализация болгарской францисканской миссии, вылившаяся в установление софийской архиепископии (1642), развитие образования и, наконец, международная дипломатическая деятельность болгаро-католических духовных лидеров, выступавших как представители Папы Римского, по созданию антиосманского блока [20]. Последнее направление их деятельности оказалось достаточно жизнеспособным, и несмотря на явный упадок болгаро-католической общины в 70-е годы XVII в. (связанный со смертью практически всех выдающихся лидеров этой группы: П. Богдана, Ф. Станиславова, П. Парчевича), Австрия и Рим продолжали поддерживать связи с никопольским епископом А. Стефановым и софийским архиепископом С. Княжевичем. В октябре 1688 г. в рамках войны Османской империи со Священной лигой (Австрия, Польша, Россия, Венеция и Мальтийский орден), начавшейся в 1683 г., в Чипровцах было поднято антиосманское восстание, поводом для которого послужили известия об удачном овладении австрийцами Белграда и их движении по направлению к Видину и Софии. Однако военная поддержка императора Леопольда I, обещанная восставшим, не пришла, и Чипровцы были взяты и разрушены османскими войсками. Значительная часть чипровецких католиков (по сообщению софийского архиепископа С. Княжевича, около трех тысяч) бежала в Валахию и Трансильванию (позже часть переместилась в Банат), где вскоре получила от властей ряд привилегий, позволявших им вести торговую деятельность и фактически не зависеть от местной администрации. Благоприятные социально-экономические условия, компактность заселения, слабое инокультурное влияние – все это позволило сохранить болгарам-католикам свое национальное сознание и до настоящего времени (поселения в городах Винга, Бешенов и другие на территории Румынии) [21]. Оставшиеся в Болгарии католические поселения, состоявшие преимущественно из павликиан, находились в основном во Фракии и в северо-восточном районе страны.

В немногочисленном историческом наследии болгар-католиков XVIII в. особо выделяются крупные и целостные произведения Б. Клайнера “Архив провинции Болгарии в трех частях” и “История Сербии” Ф.-К.Пеячевича [22–24].

Блазиус Клайнер, францисканский монах саксонского происхождения, принадлежал к болгаро-католической общности г. Алвинца (Румыния). В 1762 г. он стал аббатом болгарского францисканского монастыря свв. Петра и Павла, а позже, в 1764–1767 гг. настоятелем Болгарской францисканской провинции. “Архив провинции Болгарии” создавался им на протяжении четырнадцати лет. “Происхождение, обычаи и религия болгарского народа и само царство Болгарии... до 1453 года” описываются в его первой части. Во втором разделе (написанном в 1763 г.) речь идет о францисканских монастырях провинции Болгарии. Третья часть посвящена непосредственно францисканской кустодии (позже провинции) с 1366 г. и до 1775 г. По-видимому, начав писать ее историю по собственному желанию еще в 1761 г., Б. Клайнер периодически к ней возвращался, однако, толчком к ее окончательному и быстрейшему завершению стала энциклика главы францисканского ордена (1774 г.), призывавшая отдельные провинции описать собственную историю, которые в совокупности должны были продолжить капитальный труд Л. Вадингги по истории францисканства “*Annales minorem*”. Вновь назначенный настоятель болгарской францисканской провинции (1773–1776) поспешил выполнить пожелание генерального предстоятеля, и к 15 марта 1775 г. “Архив” был полностью закончен. Б. Клайнер не был болгарин по происхождению, но называл себя “приемным сыном болгарского народа” [23. С. 26]; его сочинение использовалось в качестве учебника по истории в болгаро-католических школах [21. С. 90], поэтому является ценным источником для изучения исторических представлений, бытовавших в среде болгаро-католической эмиграции во второй половине XVIII в.

Другой болгаро-католический автор, Франциск-Ксаверий Пеячевич (1707–1781) – племянник предводителя Чипровецкого восстания 1688 г. Георгия Пеячевича, родился и получил образование уже в Австрийской монархии. Вступив в орден иезуитов, Ф.-К. Пеячевич вскоре занял руководящие посты и в структуре ордена, и в университетах Загреба, Любляны и Линца. После расформирования ордена в 1773 г. он, по-видимому, проживал в аббатстве в Петроварадине (под Нови-Садом), пожалованном ему императрицей Марией Терезией [25. С. 321]. Его обширное литературное наследие включает в себя помимо богословских сочинений еще два исторических произведения: первое, “*Historia Bulgarorum*” утеряна [17], а второе – “*Historia Serviae seu colloquia XIII de Statu Regni et religionis Serviae ab exordio ad finem sive a saeculo VII ad XV*” (далее – “История Сербии”) – было дважды опубликовано уже после смерти автора, в 1797 г. и 1799 г. “История Сербии” написана в форме диалога Болгарина и Серба и состоит из тринадцати “разговоров”, в одиннадцати из которых рассматривается история сербского государства в хронологическом порядке от VII в. и до XV в., а два последних, тематических, разговора посвящены истории Боснии и истории сербской церкви.

Возникновение этого сочинения связано с противостоянием австрийских сербов и Вены, ориентированной на курс католической и униатской пропаганды, в связи с вопросом о церковном календаре [26]. Жесткие действия власти по сокращению церковных праздников, посвященных сербским святым королям и архиепископам, вызвали чрезвычайно болезненную реакцию сербов, так как образы сербских святых занимали главное место в этническом и конфессио-

нальном самосознании австрийских сербов. Своеобразной “репликой” Пеячевица в развернувшейся дискуссии и стал его трактат “История Сербии”. Историк-иезуит утверждал, что начиная с самых ранних времен и на протяжении всего Средневековья вплоть до турецкого завоевания, сербские цари, церковь и народ исповедовали католическую веру и находились “в послушании у Римской церкви”, и поэтому все сербские святые – суть святые католические, почитание которых не должно преследоваться властью.

Несмотря на конъюнктурный характер этого произведения, оно, как и “История Болгарии” Б. Клайнера, дает возможность проанализировать комплекс представлений о прошлом, включающий взгляды конкретного историка на различные исторические сюжеты в их взаимосвязи. Авторский характер этих исторических произведений в определенной степени ограничивает исследователя в широте формулируемых выводов, однако, позволяет в ряде случаев проследить процесс формирования того или иного исторического суждения в контексте определенной культурной традиции и общественно-политической ситуации. Адекватный анализ данных исторических сочинений возможен лишь при их сопоставлении с аналогичными произведениями православных болгар и сербов [6. С. 27–32]. Такие сочинения, как “Славяноболгарская история” Паисия Хилендарского или сочинение Й. Раича, с конца XVIII в. и на протяжении первой половины XIX в. стали своеобразной “сокровищницей” определенных исторических образов, моделей и топосов, получивших дальнейшее развитие и широкое применение в национально-идеологической риторике, и таким образом в значительной мере сформировали историческое и национальное сознание болгар и сербов. Подобным сочинениям с элементами этнонационалистической версии прошлого присуща некоторая доля мифологизации собственной истории. Это было обусловлено не столько начальным этапом формирования исторической науки, сколько самим феноменом мифологизации общественного сознания, актуализирующейся в переломные моменты развития этнической (или национальной) общности: для южных славян – это, безусловно, эпоха национального возрождения, к началу которого и относится творчество вышеупомянутых историков.

В рамках сравнительного исследования взглядов православных и болгаро-католических авторов были рассмотрены определенные темы (тема “обретения родины”, т.е. появления болгар и сербов на Балканах, эпоха “золотого века” сербской и болгарской государственности, образ “болгарской (сербской) катастрофы”), выбор которых был обусловлен не только материалом источников, но и значимостью именно этих сюжетов в формировании мифологизированного образа национального прошлого, как неотъемлемой части складывавшегося национального самосознания [2]. Кроме этого было уделено внимание разнообразным трактовкам сюжетов из истории болгарского и сербского христианства, а также представлениям авторов о “своем” народе, которые, часто фигурируя в исторических сочинениях эпохи национального возрождения, формировали у читательской аудитории четкую национально ориентированную картину собственного прошлого. Остановимся подробнее на каждом из этих смысловых блоков.

1. В описании **истории сербского и болгарского народов** и болгаро-католические авторы, и православные историки в значительной степени опирались на сочинения М. Орбини “Царство славян” и Цезаря Барония “Церковные анна-

лы”², что объясняет единый набор выбранных для рассмотрения сюжетов. Однако при общем объеме и содержании исторической информации, отношение к ней самих историков значительно различается. Православные авторы более эмоциональны в оценках “национальных героев” или “славных” средневековых правителей (чей образ является одним из опорных для национального самосознания [3. Р. 17]), в то время как католические авторы не только не разделяют подобных взглядов, но и вообще избегают какой-либо оценки. Например, если для православных историков фигура святого князя Лазаря является естественно абсолютно непогрешимой, то в тексте Ф.-К. Пеячевича читатель встретит прямое обвинение князя Лазаря в грехе клятвoprеступничества (нарушении вассального договора заключенного им с Мурадом в 1386 г.), за что и постигло Сербию Божие наказание в виде поражения на Косовом поле [24. Р. 329].

Такие важные *признаки величия правителя* как титул и размер его государства, обязательно присутствующие в сочинениях православных историков, иначе представлены у болгар-католиков. Так, например, Б. Клайнер, употребляя наряду с православными авторами термин “болгарский царь”, исключает из этого понятия собственно национальную характеристику: для него “болгарский царь” – это любой правитель территории Болгарии, в том числе – и турецкий султан, и венгерский король [23. С. 160–161]. Вопрос о титуле (в данном случае, сербского князя Лазаря) был нетрадиционно решен Ф.-К. Пеячевичем: в отличие от сербских православных авторов, именующих культового героя сербского эпоса XV–XVIII вв., Лазаря “царем” и даже упоминавших о его венчании на царство, историк-иезуит настаивает на том, что он “никогда не был кралем или тем более императором” [24. Р. 326–328; 30. С. 116, 118; 29. Ч. III. С. 8, 12, 21; 31. С. 78, 84]. Для нас здесь важно подчеркнуть, не столько правоту Пеячевича как историка³, сколько исключительное своеобразие подобной трактовки в контексте сербской исторической традиции.

Равнодушие болгар-католиков к стремлению сербских и болгарских православных авторов немного приукрасить свое прошлое особенно заметно проявляется в *описании территориальных приобретений* того или иного правителя или в описании границ государства в эпоху “золотого века”. Католические авторы говорят о расширении территории болгарского и сербского государства достаточно туманно, не останавливаясь подробно на этом вопросе, а ограничиваясь цитатой из “достоверного древнего автора” и оперируя при этом античными географическими терминами, встречающимися на европейских картах XVII–XVIII вв. [34]. Это значительно контрастирует с позицией православных авторов, которые в подобных ситуациях достаточно часто используют топографию, знакомую читателю XVIII в., и таким образом проецируют современные им географические реалии на прошлое [30. С. 72; 29. Ч. II. С. 612, 646]; (ср. [24. Р. 270]).

Провиденциальный подход в рассмотрении *причин национальных болгарской и сербской “катастроф”* характерен и для католических, и для православных историков [6. С. 129; 23. С. 132; 28. С. 90, 95; 24. Р. 320–321] (ср. [32. С. 48; 29. Ч. II. С. 697; 30. С. 110; 31. С. 77]). При этом болгарские историки и Б. Клайнер часто в этой связи обвиняют “греков” [6. С. 128, 130, 142–143; 28. С. 90, 95];

² Православные сербские и болгарские авторы преимущественно были знакомы с этими произведениями в русском переводе: “Деяния церковные и гражданские” Барония и “Книга историография...”

³ Свидетельства его венчания на царство на соборе 1377 г. до сих пор не найдены [33. С. 94].

(ср. [23. С. 132]), но если православные историки чаще подчеркивают предательство и отсутствие взаимовыручки с болгарами и сербами, то историк-францисканец сетует на то, что “болгары, допустив себя в подчинение грекам, оказались равны с теми в преступлении отхода от матери-церкви и получили одинаковое наказание – турецкое рабство” [23. С. 146]. Иными словами, впадение в схизму, по мнению Клайнера, привело к турецкому завоеванию.

Специфика католического взгляда на успех османского завоевания проявляется и в представлении о катализирующей функции междоусобной брани сербской и болгарской знати [23. С. 129, 132]. Этот мотив относительно болгарской истории, присутствовавший в европейской историографии начиная с Орбини, по-видимому, был знаком и болгарским православным авторам, однако не был ими воспринят [35. С. 289–290]; (ср. [28. С. 89–90; 27. С. 640–641]). *Последствия катастрофы* (гораздо подробнее освещаемые православными авторами, чем католиками) также трактуются по-разному: Клайнер вообще не обращается к этой теме, а Пеячевич подчеркивает, что основным последствием османского завоевания стала не потеря традиции государственности (как полагают православные историки), а утрата истинной (католической) веры и впадение в схизму.

Сравнение взглядов болгар-католиков между собой на прошлое славянских народов выявило между авторами определенные различия, обусловленные в первую очередь своеобразной позицией Пеячевича по ряду вопросов. Так, например, его явная пропагандистская идея о безусловной принадлежности сербских правителей (Неманичей и деспотов) к Римской церкви абсолютно оригинальна и не находит своего аналога в сочинении Клайнера. “Достаточным” основанием для подобных утверждений со стороны Пеячевича является принятие короны (Стефан Первовенчанный, Радослав) или переписка с Папой Римским (Урош, Милутин, Стефан Душан); отношение католиков к той или иной фигуре как к брату по вере (Стефан Неманя, Стефан Дечанский); женитьба на католичке (царь Урош, Стефан Дечанский) и даже внешнеполитические соглашения сербского правителя с неким союзником-католиком (князь Лазарь, Милутин). “Натянутасть” подобных доказательств очевидна и не требует здесь особого рассмотрения. Кроме того, Пеячевича отличает устойчивый интерес и формулировка собственного мнения по ряду вопросов (представлявшихся Клайнеру, по-видимому, второстепенными), к которым, например, относится проблема славянской (в частности, сербской) прародины: используя элементы традиционных “сарматской” и “скандинавской” версий славянского этногенеза [36. С. 21–35; 7. С. 124–127], историк-иезуит настаивает на изначальном происхождении сербов из Индии [24. Р. 4].

Но наиболее важным отличием текста Пеячевича от сочинения Клайнера, безусловно, является наличие четкой мифологической канвы исторического повествования (что характерно и для православных сочинений по истории Сербии): от “золотого века”, эпохи средневекового расцвета сербской государственности через “катастрофу”, османское завоевание, прервавшее поступательное развитие сербской общности, к плачевному современному положению, знакомому и историку, и его читателям. В рамках этой канвы Пеячевич выделяет те ключевые точки, значимость которых в контексте сербского национального прошлого очевидна и для Й. Райча: коронация Стефана Первовенчанного, провозглашение Стефана Душана царем, битва на Косовом поле и др. Однако внутреннее содержание этой сюжетной линии, ее трактовка католическим историком заметно отличается от воззрений православных сербских историков,

так как подчинена его концептуальной идее – доказательству принадлежности сербского народа, его святых и правителей к Римской церкви.

Четкое следование указанной выше мифологизированной картине сербского прошлого демонстрирует идеологичность этих построений как православных авторов, так и Пеячевича. В этом отношении показателен финал каждого произведения, из которого читателю обычно становится ясно, для каких целей историк использовал замысловатую вязь исторических фактов, фигур и примеров, что он всем этим материалом хотел подтвердить или доказать. Так, православные авторы П. Юлинац и Й. Раич заканчивают свои произведения рассказом о жизни сербов в Австрийской империи и прилагают “извод привилегий”, пожалованных переселенцам австрийским императором Леопольдом I. Это объясняется тем, что их сочинения были призваны продемонстрировать богатое сербское прошлое в качестве аргумента в той политической борьбе, которую сербы вели во второй половине XVIII в. по отстаиванию и расширению своих прав. В завершении рассказа о последствиях “сербской катастрофы” и переселении сербов в Австрийскую империю, Юлинац и Раич фактически указывают путь преодоления современной им неблагоприятной ситуации, делая особый упор на документальном подтверждении правого статуса австрийских сербов. Аналогичный смысл несет в себе и тринадцатый разговор Болгарина и Сербя об истории сербской церкви в произведении Пеячевича, доказывающий на основе документов (приведенных в приложении) первоначальное исповедание сербами “истинной католической веры”, которое было нарушено “катастрофой”. Сходство в использовании этого композиционного приема свидетельствует о равной идеологичности данных сочинений, различавшейся лишь своей направленностью: вместо национально-государственного концепта, присущего православным историкам, болгаро-католический автор выдвигает на первый план тему “конфессионального”.

2. Собственно **этнические представления** болгар-католиков, являясь неотъемлемой частью их исторического сознания, безусловно, требуют отдельного и достаточно подробного рассмотрения. Здесь же мне представляется целесообразным остановиться лишь на двух моментах: специфике употребления этнонимов “болгары” и “сербы” и характеристиках, данных православными и болгаро-католическими историками этим народам.

В отличие от болгарских православных авторов Клайнер использует термин “болгары” более широко: не только в собственно этническом значении, но и для обозначения жителей Болгарии вообще. Так, он пишет: “Болгария времен римлян... по большей своей части была католическая, и из-за варваров (праболгар. – *Н. Ч.*) и жестоких хуннов болгары-католики были частично изгнаны, частично убиты...” [23. С. 33–35]; (ср. [23. С. 101, 108]). Кроме того, словосочетание “болгарский народ” (неидентичное термину “болгары”) достаточно часто используется им для обозначения исключительно болгаро-католической этноконфессиональной общности в эпоху эмиграции [22. С. 11, 12, 21, 34 и др.]. В этой связи характерно и отношение историка-францисканца к проблеме славянского происхождения болгар. Туманная позиция Клайнера по этому вопросу [23. С. 44, 45, 48], обусловлена не только его зависимостью в решении этой проблемы от западноевропейской историографии, в которой также в этом отношении не было единства (наряду с высказываниями о несомненном славянском происхождении болгар, встречаются указания о тюркском происхождении [37. Р. 60; 38. С. 19]), но неактуальностью этой проблемы в сознании историка-

францисканца. В то же время в болгарской (православной) исторической мысли этот вопрос, не вызывавший сомнений во второй половине XVIII в., уже в первой половине следующего столетия встанет достаточно остро и приобретет явный национально-идеологический подтекст [10. С. 297].

Представление о “славном” болгарском народе, его национальном характере наиболее ярко выражено в сочинениях православных авторов в отличие от произведения Клайнера, для которого характерно индифферентное или даже слегка неприязненное отношение к болгарам. За исключением единичных упоминаний о них как о народе “достойным похвалы” [23. С. 26], на протяжении всего повествования для их характеристики употребляется термин “варвары” (традиционный для европейской католической историографии, идущей от Барония [39. С. 370]). Одновременно с этим представление о “малой цивилизованности” болгар разделяют и православные авторы (в первую очередь, Паисий), трактующие ее как отсутствие просвещения, невежество и недостаток знаний, в то время как историк-францисканец гораздо чаще под невежеством подразумевает необузданный нрав и отсутствие христианских добродетелей (даже после крещения): не будучи просвещены “истинным учением”: они, как язычники, подвержены страстям (алчности и гордыне “от побед”), “мучают христиан” (речь идет как о болгарских царях язычниках, так и о христианском царе Симеоне), притесняют своих епископов, грабят церковное имущество [23. С. 37, 43, 48, 84, 101–106, 117].

Прямо противоположной направленностью характеризуются взгляды Пячевича в отношении сербов: не обличая (как Клайнер – болгар) и не восхваляя (как православные историки), он хотя и скуп в оценках, но всегда говорит о них с симпатией, не забывая, что этот народ некогда был народом и его предков [24. Р. VI]. Показательным примером тому является использование им в своем сочинении терминов “Serbli” (Serblia) и Servi (Servia). Как известно, латинское название сербов, также как и славян (Sclavi) уже в XVI в. вызывало негодование у многих польских и чешских авторов, так как его значение воспринималось как “раб”, “крепостной” [40. С. 35]. Сербский историк Й. Раич также выступал против использования этого термина [29. Ч. I. С. 37]. Анализ текста показал, что латиноязычное написание фигурирует лишь в цитатах, в то время как в своей речи Пячевич использует термин Serbli. Более того, комментируя фразу Константина Багрянородного о том, что «это прозвище (“сервы”) сербы получили потому, что стали рабами василевса ромеев» [41. С. 141], автор “Истории Сербии” настаивает на неверности данного словоупотребления и правильности более древнего имени – “серблы” [24. Р. XXXVII]. Сознательное употребление им этнонима “серблы” демонстрирует не только осведомленность в актуальности этого вопроса для сербского национального самосознания конца XVIII в., но и четко выраженную собственную позицию: не отменяя полностью значимость “национального”, все же больше внимания уделять теме “конфессионального” [42].

3. Анализ представлений католических авторов об **истории христианства у болгар и сербов** выявил их общее мнение об изначальной принадлежности этих земель Римской церкви и об установлении на них национальных церквей, подчинявшихся Апостольскому престолу [24. Р. 41–45, 47–49; 23. С. 31, 32]. Причем, если Пячевич лишь подробно останавливается на вопросе о принадлежности Иллирика Риму, то Клайнер действует более решительно, приписывая всем первым христианским общинам на территории Болгарии принадлежность к католической церкви. Это высказывание наряду с некоторыми другими особенно

стями (пристальное внимание к “вселенскому” (на самом деле поместному) Софийскому собору, рассказы о католических общинах до появления болгар на Балканах и др.) скорее всего, объясняются основной целью сочинения Клайнера – рассказать “славную” историю развития болгарской католической общины, в связи с чем, сведения о более раннем (по сравнению с “греками”) появлении “католиков” на территории Болгарии приобретают особую ценность.

Ключевой в истории сербского и болгарского христианства сюжет о крещении в изложении католических авторов значительно отличается от православной трактовки этих событий. Так, например, говоря о крещении болгар и православные, и католические историки отмечают деятельность папских прелатов Формозы Портуэнского и Павла Популонского (вторая половина 860-х годов), последовавшей за крещением царя Михаила от византийского епископа. Однако оценивается это событие по-разному: католические авторы особенно подчеркивают его важность, имея в виду ее результат – массовое крещение “от мала до велика” [23. С. 66; 24. Р. 49], в то время как православные историки при высокой оценке деятельности католической миссии, все же подчеркивают преимущества более раннего (VIII в.) “греческого” религиозного влияния [6. С. 63; 27. С. 634; 28. С. 38, 44, 52].

Аналогичная по сути ситуация складывается и при сравнении взглядов историков на вопрос о крещении сербов. Так, большинство сербских православных историков несмотря на абсолютное признание авторитетности такого источника как сочинение Константина Багрянородного “Об управлении империей”, не доверяют его словам о первоначальном крещении сербов (640 г.) в результате деятельности “римских” священников, призванных императором Ираклием [24. Р. 21].

Подобная позиция сербских православных историков в этом вопросе неудивительна. Для зарождающегося сербского национального самосознания конфессиональный компонент имел большое значение, еще больше актуализируясь под воздействием униатской пропаганды. В связи с этим желание исключить присутствие любого упоминания о католической церкви в прошлом своих народов выглядит вполне естественным.

В рассматриваемом аспекте показательны православная и католическая трактовки образа Кирилла и Мефодия в рассматриваемых исторических сочинениях. К примеру, Пеячевич пишет о “славянских апостолах” как о римских епископах, чья деятельность получила благословение папы Иоанна VIII [24. Р. 425]. В подобном подходе историк-иезуит не был одинок: аналогичный взгляд встречается в чешских и южнославянских католических произведениях XVII–XVIII вв., что связано как с действием глаголической традиции, так и с формированием особого мнения католической историографии посттридентского периода (в частности, Цезаря Барония) относительно славянского богослужения [43]. В православных текстах Кирилл и Мефодий естественно предстают столпами православной веры, более того для православных болгарских историков XVIII в. было характерно патриотическое (как сугубо национальная заслуга болгар) восприятие миссии “славянских учителей” [44. С. 98]. Знаковость этих фигур в рамках южнославянской культуры неоспорима, чем и объясняется появление разных трактовок их образов в период национальной самоидентификации южнославянских наций: начиная со споров о конфессиональной принадлежности “славянских братьев” и заканчивая их национальной принадлежностью (болгарской или греческой).

В сочинении Ф.-К. Пеячевича предстает целостная картина развития христианства на территории Болгарии и Сербии. Несмотря на то, что отмечается су-

ществование отдельных поместных православных церквей, речь неоднократно заходит о “нашей” церкви, находящейся как бы между “греками” и Римом [24. Р. 1]. Изначальная связь болгарского и сербского народов с Римским престолом осуществлялась как посредством южнославянских правителей, выказывавших “попущение” Апостольскому престолу, так и в церковно-иерархическом отношении: сербский архиепископ Савва был рукоположен “латинским” (иерусалимским или константинопольским) патриархом [24. Р. 180, 182], а болгарская патриархия, установленная, по мнению Пеячевича, в 882 г., возглавлялась католическим (!) архиепископом Охридским, Климентом [24. Р. 74–75]. Анализ этих сюжетов “Истории Сербии” показал, что для историка-иезуита неоспоримую идеологическую ценность представляла автокефальность болгарской или сербской церкви, что также характерно и для общественной мысли болгар и сербов XVIII–XIX вв. и в то же время абсолютно неприемлемо для католической традиции (также как и обвинения римских понтификов в неадекватном поведении в отношении “схизматиков”, объясняющееся их человеческой природой [24. Р. 268, 367, 403]).

Далее, согласно Пеячевичу, изначально принадлежность к Риму болгар и сербов вскоре была нарушена “разрушительным” влиянием “греков”, подталкивавших народы к схизме [24. Р. 158, 187]. Однако сербы в лице своих правителей сохранили приверженность Риму, в то время как болгары по причине распространения “греческих священников”, были “заражены ересью” еще в XI в. С падением сербского государства в “схизму” попали и сербы. Их возвращение в лоно “единственной истинной церкви” с точки зрения здравого смысла, по словам Пеячевича, является естественным не только потому, что Рим – это “вечный и благодатный источник”, но и в связи с обязательным требованием следовать традиции предков (ведь предки современных сербов, в представлении историка, были католиками) [24. Р. 138, 190]. Обращение историка-иезуита к актуальному для сербского общественного самосознания концепту традиции свидетельствует о его знании основных направлений развития общественной идеологии австрийских сербов. Однако, как обычно, различия кроются в том, что считать традицией: для Пеячевича, это безусловно принадлежность к католической вере, а для остальных авторов – к православию.

И наконец, последней отличительной особенностью “Истории Сербии” является отсутствие свидетельств возникновения и дальнейшего существования в Чипровцах болгаро-католической общины, что, наоборот, подробно описывается в “Истории Болгарии” Б. Клайнера. В последнем случае это естественно для сочинения, целиком посвященного истории болгарского францисканства [23. С. 135, 139, 146], в то время как молчание Пеячевича (потомка чипровецких болгар) по этому вопросу остается необъяснимым.

Подводя итоги, можно констатировать слабую выраженность этнического/национального концепта у болгар-католиков в трактовке сюжетов болгарского и сербского прошлого в сравнении с представлениями православных авторов. Эта тенденция особенно отчетливо проявляется в отсутствии ярких этнических стереотипов, в формальном и “бледном” рассмотрении таких важных для этнонационалистической версии прошлого вопросов, как образы “национальных героев”, представление о славянской прародине и территориальном расширении сербского и болгарского средневековых государств и др. Сходство исторических представлений Ф.-К. Пеячевича и Б. Клайнера фактически объясняются исключительно идеологическими рамками католического универсализма, еще сохранявшего в XVIII в. свои активные позиции. Гораздо более показательны отмеченные различия между двумя исследованными текстами.

Представленный выше материал показывает, что этнический концепт слабее выражен в сочинении Б. Клайнера, в результате чего история болгарского народа представлена без оценок, без эмоций, сухо и достаточно кратко в духе эрудитской католической историографии того времени. Гораздо внимательнее автор останавливается на фактах возникновения и существования болгаро-католической этноконфессиональной общности, именуемой в его тексте “болгарским народом” (а не просто болгарами). Возможность подобного отождествления была обусловлена социально-экономическими и культурными факторами существования болгар-католиков в эмиграции. По-видимому, нахождение уже не в иноконфессиональном (православном), но в католическом окружении, а также в сфере влияния южнославянской католической (хорватской) культуры, в условиях диаспоры положило начало развитию их собственно этнической/национальной идентичности. Немаловажное значение в этом процессе сыграли привилегии, данные Габсбургами переселенцам, не только создавшие благоприятные для них социально-экономические условия, но и поддерживавшие их групповое самосознание, в котором собственно этнический компонент выходит на первый план и становится основой сохранения данной общности вне Болгарии вплоть до XXI в. Проявлением этой тенденции следует считать возникновение в этой среде нескольких исторических трудов (наряду с “Историей” Б. Клайнера, история деревни Бешеново и др. [13; 15]), чьими читателями впервые в истории этой этноконфессиональной общности были сами болгары-католики. Таким образом представленная Клайнером в первой части “Истории” картина прошлого, не отличаясь значительно в фактологическом отношении от образа истории православных болгар, имела ряд специфических особенностей: иные логические ударения и смысловые связи. Все это в совокупности подчеркивало собственно их историю, историю болгаро-католической общности.

В то же время анализ исторических представлений Ф.-К. Пеячевича явно показывает, что прошлое болгаро-католической общности явно не осознавалось им как “свое”: в его тексте отсутствуют свидетельства, о которых он “должен был бы” знать как потомок чипровецких католиков. В то же время намеки на собственную сербскую идентичность⁴ актуализируют в сознании читателя вопрос о прошлом сербов-католиков, ответом на который и становится фактически вся “История Сербии”.

Анализ “Истории Сербии” позволяет предположить, что это сочинение по замыслу автора должно было сыграть определяющую роль в возникновении и развитии *сербско-католического сообщества*, в самосознании которого конфессиональный и этнический компоненты находились бы в тесной взаимосвязи, подобно тому, как это было в сознании православных сербов в XVII–XVIII вв. Попытка Пеячевича “создать” некий этноконфессиональный общественный организм, путем предъявления ему “собственной” истории, рассказывающей о его сербо-католическом “славном прошлом” сближает автора с “будителями” эпохи национального возрождения.

Принципиальное сходство “Истории Сербии” с сочинениями Й. Раича и Паисия Хилендарского состоит в элементах этнонационалистической версии прошлого, проявляющихся не только в содержании (мифологическая канва истори-

⁴ В литературе высказываются предположения об участии значительного сербского элемента в генезисе чипровецкой болгаро-католической общности. Изначальное сербское происхождение приписывается роду Парчевичей, Кнежевичей, Пеячевичей и др. [45. С. 88].

ческого повествования “золотой век” – “национальная катастрофа” – современное положение, оригинальный взгляд на историю болгарского и сербского христианства в Средние века с четкой и однозначной оценкой событий и ярко выраженным конъюнктурным характером, проявление симпатии к сербам), но и в способах подачи исторического материала (гипотетические построения, “удревнение” институтов национального значения, особенности композиции и др.).

На данный момент можно говорить о явной неудаче этого проекта Ф.-К. Пеячевича, причины которого кроются не только в труднодоступности “Истории Сербии” для широкой читательской аудитории (латинский язык сочинения, объем в 440 страниц основного текста и т.д.), но и в несвоевременности самого издания. Написанный в 1775–1776 гг., в период общественных брожений и неопределенности дальнейшего политического и этнокультурного существования австрийских сербов, трактат Ф.-К. Пеячевича был опубликован гораздо позже, в самом конце XVIII в., уже по вступлении в действие “Декларатория” (1779), патента о веротерпимости (1781) и проведения Темишварского собора (1790), определивших доминанты дальнейшего развития сербского общества (курс на более активное внедрение и инкорпорацию сербов в политическую, экономическую и культурную систему Австрийской империи, постепенный отход конфессиональной составляющей в самоопределении сербов на второе место). Неадекватность “Истории Сербии” новому повороту в судьбе австрийских сербов, естественно, сказались и на восприятии сочинения основным адресатом – оно было встречено равнодушным молчанием. Между тем, отсутствие интереса Ф.-К. Пеячевича, потомка болгар-католиков, к истории “своего” народа, признаки его сербской идентичности, незнание реалий существования болгаро-католической церкви в XVII–XVIII вв. – все это свидетельствует о процессе быстрой ассимиляции потомков болгар-католиков, проживавших вне диаспоры, вне своего этноконфессионального сообщества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Савельева И.М., Полетаев А.В.* Знание о прошлом: теория и история. СПб., 2006. Т. 2. Образы прошлого.
2. *Шнирельман В.А.* Ценность прошлого: этноцентристские исторические мифы, идентичность и этнополитика // Реальность этнических мифов. М., 2000. Вып. 3.
3. *Makolkin A. Name, Heroe, Icon.* Semiotics of Nationalism through Heroic Biography. New York, 1992.
4. *Myth and Memory in the Construction of Community.* New York, 2002; *Cultural Memory and the Construction of Identity.* Wayne, 1999.
5. *Smith A.* The Golden Age and National Revival // *Myths and Nationhood.* London, 1997.
6. *Паисий Хилендарски.* Славянобългарска история. София, 1981.
7. *Робинсон А.Н.* Историография Славянского Возрождения и Паисий Хилендарский. М., 1963.
8. *Ангелов Б.* Паисий Хилендарски. София, 1985; *Ангелов Б.* Съвременници на Паисий. София, 1963; *Велчев В.* Паисий. Епоха. Личност. Дело. София, 1981.
9. *Дубовик О.А.* Развитие исторической мысли в Болгарии в XVII–XVIII вв. Автореферат дис. на соискание ученой степени канд. ист. наук. М., 1992.
10. *Конев И.* Българското Възраждане и Просвещението. София, 1981.
11. *Тодоров Г.* Историческите възгледи на Паисий Хилендарски // Известия на Института за История. Т.20, София, 1968.
12. *Цанев Д.* Българската историческа книжнина. XVIII–първата половина на XIX в. София, 1989.
13. *Dimitrov B.* La storiografia cattolica bulgara nei secc. XVII–XVIII // *Relazioni storiche e culturali fra L’Italia e la Bulgaria.* Napoli, 1982.
14. *Radović N.* Istorija Srbije Franje Ksavera barona Pejačevića // *Razprave znanstveno drustva za humanistične vede.* Ljubljana, 1930. № 5–6.

15. *Телбизов К.* Чипровската книжовна школа (Обзорен библиографски опис) // Литературна мисъл. София, 1981. № 6; *Телбизов К.* Още една история на България от средата на 18 в. // Векове. 1978. № 6.
16. *Димитров Б.* Петър Богдан Бакшев: български политик и историк от XVII в. София, 1985; *Пейчев Б.* Съчиненията на Пеячевичи и К. Пейкича // Чипровци 1688–1968. София, 1968; *Станчев К.* Литературата на българите-католици през 17–18 в. // Литературна мисъл. 1981. № 3.
17. *Пейчев Б. Ф.-К.* де Пеячевич, професор от 18 в. и неговата “*Historia Bulgarorum*” // Отечество. София, 1977. № 18.
18. *Вечева Е.* Българската католическа интелигенция през XVII в. // 300 години Чипровско въстание. София, 1988.
19. *Грозданова Е.* Българската народност през XVII в. София, 1989.
20. *Станимиров С.* Политическата дейност на българските католици през 30–70 години на XVII в. Към историята на българска антиосманска съпротива. София, 1988.
21. *Телбизов К., Векова М., Люлюшев М.* Българското образование в Банат и Трансилвания. Велико Търново, 1996.
22. *Клайнер Б.* Хроника на българското францисканство (XIV–XVIII в.) София, 1999.
23. *Клайнер Б.* История на България. София, 1977.
24. *Rejascovich. Franc. Xav.* *Historia Serviae seu colloquia XIII de Statu Regni et religionis Serviae ab exordio ad finem sive a saeculo VII ad XV.* Colocae, 1799.
25. *Иречек К.* История на българите. София, 1939.
26. *Чвърь Н.В.* “История Сербии” Франциска Ксаверия Пеячевича в общественной жизни и церковной истории сербского населения монархии Габсбургов в XVIII в. // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. М., 2006.
27. *Иванов Й.* Български старини из Македония. София, 1970.
28. *Спиридон.* История во кратце о болгарском народе славенском. София, 1900.
29. *Rajuh J.* История разных славенских народов наипаче болгар, хорватов и сербов. Виенна, 1794–1795. Ч. I–IV.
30. *Јулинец П.* Краткоје введеније в историју происхождения славеносербского народа. Београд, 1981.
31. *Шафарик Я.* Србскій летописац из почетка XVI столетия // Гласник друштва србске словесности. Београд, 1853. Св. V.
32. *Новаковић Р.* Бранковићев Летопис. Београд, 1960.
33. *Михајчић Р.* Лазар Хребећановић. Историја, култ, предање. Београд, 1989.
34. *Jugoslovenske zemlje na starim geografskim karta XVI, XVII, XVIII vek.* Beograd, 1990.
35. *Мавро Орбини.* Кралевство Словена. Београд, 1968.
36. *Мьльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Этногенетические легенды, догадки, протогипотезы XVI– начала XVIII века. СПб, 1996.
37. *Sgambati E.* La Bulgaria nella Storiografia italiana tra Medioevo e Umanesimo // България, Италия и Балканите. София, 1988.
38. *Пиккио Р.* България в църковната история на Цезар Бароний // България. Италия. Балканите. София, 1988.
39. *Заимова Р.* Църковната католическа историография в Западна Европа: Цезар Бароний и последователите му за българска история (XVII) // Известия на държавните архиви. София, 1988. Т. 55.
40. *Мьльников А.С.* Картина славянского мира: взгляд из Восточной Европы. Представления об этнической номинации и этничности XVI–XVIII вв. СПб, 1999.
41. *Константин Багрянородный.* Об управлении империей. М., 1991.
42. *Чвърь Н.В.* Этноним Серблы/Servi в исторических сочинениях у австрийских сербов второй половины XVIII в. // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006.
43. *Чвърь Н.В.* Образ Кирилла и Мефодия в исторической мысли южных славян-католиков (XVII в.) // Раннее средневековье глазами позднего и раннего Нового времени (Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа). М., 2006.
44. *Дубовик О.А.* Религия и церковь в болгарской исторической мысли 17–18 вв. // Церковь в истории славянских народов. М., 1997.
45. *Гюзелев Б.* Албанци в източните Балкани. София, 2004.

© 2007 г. *И. И. БУЧАНОВ*

КУЛЬТУРА ЧЕХИИ ГУСИТСКОГО ПЕРИОДА В РАБОТАХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИСТОРИКОВ КОНЦА 40-х годов XX – НАЧАЛА XXI века

За последние 60 лет в советской и постсоветской историографии растет интерес к гуситской проблематике, хотя в настоящее время работ, посвященных данной теме, выходит значительно меньше, чем в прошлые годы. Между тем, вопросы гуситской культуры долгое время не привлекали внимания отечественных исследователей. Это объяснялось, прежде всего, тем, что упор в изучении гусизма делался, прежде всего, на социально-экономических, отчасти политических, религиозных и национальных факторах. Вплоть до конца 80-х – начала 90-х годов в СССР не было специальных работ, посвященных культуре гуситского периода. Только в 1991 г. вышла статья Л.П. Лаптевой “Чешская культура в период гуситского движения в XV веке”, но о ней будет сказано ниже.

В данной статье мы не будем касаться изучения в отечественной литературе таких аспектов гуситской культуры, как роль Пражского университета в духовной жизни тогдашнего чешского общества и деятельность Петра Хельчицкого и Общины чешских братьев (ОЧБ), которые требуют специального рассмотрения (см., например [1–6]).

Следует отметить, что еще со времен чешского национального возрождения гуситское движение в чешской историографии устами историка либерального направления Ф. Палацкого (1798–1876) оценивалось как “вершина чешской национальной истории”. Соответственно и вся гуситская культура расценивалась позитивно. Исключение составил чехословацкий историк консервативного направления Й. Пекарж (1870–1937), полагавший, что гуситское движение нанесло урон чешской культуре, надолго изолировав ее от общеевропейского культурного процесса.

Чехословацкие историки-марксисты послевоенного времени (Й. Мацек, Ф. Граус, Ф. Кавка и др.), вслед за З. Неедлы подвергли резкой критике концепцию Й. Пекаржа, надолго утвердив точку зрения об исключительно прогрессивном значении гуситского движения для истории средневековой Чехии (подробнее см. [7; 8]). Подобные взгляды, несмотря на некоторую модификацию общей концепции гусизма в чехословацкой историографии 60–80-х годов [9], оставались неизменными вплоть до распада Чехословакии в начале 90-х годов XX в.

Впервые в советской историографии некоторых вопросов культуры гуситской эпохи коснулись в послевоенный период авторы популярной “Истории Чехии” (1947), подготовленной сотрудниками Сектора славяноведения Института истории АН СССР. Они отметили, что гуситское движение оказало позитивное влияние на развитие чешского языка и литературы и формирование чешского национального самосознания [10].

В период хрущевской “оттепели” вышел в свет коллективный труд “История Чехословакии” (1956) [11], изданный Институтом славяноведения АН СССР, в котором гуситской культуре посвящался отдельный раздел. Его авторы, ученики З. Неedly Б.М. Руколь и Г.Э. Санчук, стали первыми отечественными исследователями, попытавшимися дать общую характеристику гуситской культуры с марксистских позиций. Поскольку гуситское движение, с точки зрения историков, было революционным, они оценили его положительно, отметив общественные преобразования, расцвет чешского языка и различных жанров литературы: хроники, полемические трактаты, памфлеты, гуситские манифесты и т.д., и лишь вскользь упомянули об упадке архитектуры, скульптуры и изобразительного искусства (исключение составила лишь иллюминация гуситских рукописей), объяснив его неблагоприятными условиями гуситских войн (иконоборчество гуситов, их борьба между собой и с католиками, иностранная интервенция и т.п.).

В период “зрелого социализма”, по тогдашней официальной терминологии, проблема культуры гуситской эпохи была отчасти затронута в двух учебных пособиях по истории южных и западных славян, опубликованных коллективом авторов кафедры истории южных и западных славян МГУ [12; 13]. Они представляли собой курс лекций для студентов исторических факультетов и были изданы исключительно для учебных целей. Авторами этих пособий не ставилась задача детального исследования гуситской культуры, но они суммировали результаты предыдущих исследований. Указанная проблема рассматривалась в разделе “Культура Чехии и Словакии в X–XV вв.”, написанном, как и все чешские и словацкие разделы этих учебников, посвященные средневековой истории, профессором МГУ, известным отечественным гуситологом Л.П. Лаптевой. Здесь освещались только позитивные стороны гуситской культуры, автор подчеркивала ее народный и национальный характер и противопоставляла культуре “господствующих классов”, преобладавшей в догуситское время [12. С. 88, 13. С. 79]. Положительным моментом гуситской культуры, по мнению Л.П. Лаптевой, являлось и “развитие чешского языка и проникновение его во все области жизни” [12. С. 89; 13. С. 80]. Автор отметила “широкий доступ к образованию народных масс”, тот факт, что “в таборской школе учились вместе мальчики и девочки, что было новшеством в средневековом образовании” [12. С. 89; 13. С. 80]. Она указала, что в гуситскую эпоху получили развитие литература, изобразительное искусство (в частности, иллюминация рукописей), которые служили “оружием идеологической борьбы и реформации”, музыкальная культура, “объединявшая в себе церковные и народные элементы”. В качестве шедевров вышеуказанных областей культуры приводятся “Гуситская хроника” и “Порок короны чешской” Лаврентия из Бржезовой, Йенский и Гёттингенский кодексы, “где в миниатюрах показаны контрасты раннего и средневекового христианства” [12. С. 89; 13. С. 80], гуситские песни “Восстань, восстань, великий город Прага”, “Кто вы, Божьи воины” и т.д. Негативные аспекты гуситской эпохи

(к примеру, разрушение церквей и монастырей, упадок архитектуры) не акцентировались.

Проблема гуситской культуры освещена в небольшом разделе книги И.И. Попа “Искусство Чехии и Моравии в IX – начале XVI вв.” [14]. Сама книга была посвящена изобразительному искусству указанного периода, специальный раздел по гуситской культуре отсутствует. Автор подчеркнул главным образом положительные моменты в ее развитии. Важным достижением гуситской культуры, по мнению И.И. Попа, было ее превращение “во всеобщее достояние”. Гуситский период, как отметил автор, “подготовил почву для развития культуры поздней готики, ставшей выражением городской культуры”. По его мнению, этот период способствовал развитию чешского литературного языка, который выступил, прежде всего, языком богослужения и вытеснил латинский язык. Кроме того, автор отметил, что “чешский язык стал языком средневековой дипломатии”, а чешская литература гуситского периода оказала влияние на развитие средневековой литературы других европейских стран [14. С. 215]. Указанное мнение не было подкреплено фактами и представляется явной натяжкой. Известно, что в гуситский период Чехия находилась в изоляции от культурных процессов, протекавших в остальной Европе, поэтому чешская литература никак не могла оказать влияние на словесность других стран Европы. Чешский же язык использовался только на переговорах в Литве и Польше. Утверждение исследователя о том, что “гуситское движение предвосхитило развитие идейной борьбы в других странах Европы на целых сто лет, став прообразом европейской Реформации” [14. С. 216] в современной литературе является дискуссионным.

Однако вполне можно согласиться с тезисом автора об упадке монументального изобразительного искусства в Чехии в период гуситских войн, что отразилось, прежде всего, на архитектуре. По мнению И.И. Попа, причинами этого явления стали экономический кризис и изменение социальной структуры чешского общества. Те слои, которые оказывали решающее влияние на развитие культуры и были ее заказчиками: королевский двор, церковь, светские феодалы, городской патрициат, разгромленные гуситами, в этот период потеряли свое влияние. Поэтому, как отметил исследователь, полностью пришли в упадок живопись, скульптура и монументальное строительство, успешно развивавшиеся в предгуситской Чехии. Строить продолжали тогда только в городе Кутна Гора, так как основное его богатство составляли серебряные рудники, и утративший своих позиций городской патрициат мог финансировать развитие архитектуры [14. С. 215–216].

Таким образом, И.И. Поп, рассмотрев в основном положительные аспекты развития гуситской культуры, в то же время обратил внимание и на факторы, тормозившие ее развитие. В этом заключалось то новое, что он внес в развитие общей концепции гуситской культуры в советской историографии.

В 1981 г. вышла в свет статья воронежского гуситолога Г.И. Липатниковой “Восприятие элементов античной культуры в городской культуре Чехии XIV – XV веков” [15]. В ней впервые рассматривался вопрос о влиянии античной культуры на образованную часть чешского общества предгуситского времени. В качестве примера этого влияния приводился тот факт, что “в библиотеке коллегии Каролиnum были представлены произведения Сенеки, Горация, Овидия, Саллюстия и Валерия Максима” [15. С. 149]. Гуманистические идеи, по мнению Г.И. Липатниковой, повлияли на интерес к античной культуре в ближайшем

окружении Карла IV и при “сохранении религиозного сознания”, в чешской городской среде. Автор пришла к заключению, что “интерес городских кругов Чехии к классической древности был одним из проявлений секуляризации культуры в рамках феодального строя. Несмотря на наличие гуманистических влияний, сам характер восприятия античной культуры в Чехии отличается определенной ограниченностью и обнаруживает много общего с так называемой “первой рецепцией” наследия древности в феодальной Европе” [15. С. 150].

Вывод исследовательницы о влиянии античной культуры на предгуситскую Чехию представляется слабо обоснованным, поэтому он и не нашел последователей в историографии.

Вопросы культуры гуситской Чехии были рассмотрены в общих чертах в двух разделах, посвященных гуситскому движению, опубликованной сотрудниками Института славяноведения и балканистики АН СССР коллективной монографии “Краткая история Чехословакии” (1988) [16]. Их автор, И.И. Поп, обратил внимание, прежде всего, на литературу гуситского времени: “Необычайно богата как чешская, так и латинская литература гуситского периода: богословские трактаты, хроники, письма руководителей движения, и наконец, наиболее распространенная, гуситские манифесты [...]. Широкое развитие получили литературные жанры массового воздействия – поэзия и песенное творчество. Именно в песнях отчетливо проявился социальный и патриотический настрой, в них в художественной форме изложены были основные идеи гуситской реформации” [16. С. 80]. Далее, как и ранее, констатировался тот факт, что “длительные войны, иконоборчество гуситов не способствовали развитию монументального изобразительного искусства, живописи и архитектуры” [16. С. 80]. Таким образом, автор повторил основные выводы своего специального исследования и закрепил их в коллективном труде.

Распад СССР привел к кардинальному изменению методологических установок в российской историографии: начался пересмотр устоявшихся концепций. Именно в этот период появилась статья Л.П. Лаптевой “Чешская культура в период гуситского движения в XV веке” [17], где пересматривались прежние оценки культуры гуситской эпохи, всесторонне анализировались различные аспекты воздействия гуситского движения на культуру Чехии на основании данных источников. В качестве примеров были приведены сведения о том, что только за период 1419–1420 гг. в Чехии было разрушено гуситами более 50 монастырских зданий [17. С. 49]. Автор указала, что достигли расцвета лишь музыкальное искусство, представленное гуситскими военными и духовными песнями, литература, прежде всего хроники, памфлеты, трактаты, манифесты. Кроме того, получил развитие такой вид искусства, как иллюминация рукописей. Живопись фактически не развивалась, архитектурное строительство не поощрялось. Развитие школьного образования, которое ранее в советской историографии преподносилось как явное достижение гуситов, было поставлено автором под сомнение. По данным источников, приводимым Л.П. Лаптевой, первая школа появилась в Таборе только в 1446 г. Среди положительных моментов развития культуры автором отмечено только появление произведений на чешском языке, но латынь при этом оставалась языком хроник (в частности, на ней была написана “Гуситская хроника”) и полемических трактатов. Автор пришла к выводу, что “несмотря на взлет народной культуры и расширение функций национального языка, приходится констатировать отставание Чехии от наиболее развитых стран” [17. С. 60]. Далее исследовательница отметила упадок Праж-

ского университета в гуситский период как признанного международного центра образования и науки, “подчинение его целям реформации и революции”, что “привело высшую пражскую школу к изоляции, к упадку в ней наук и обрекло ее на второстепенное положение среди европейских университетов XV–XVI вв.” [17. С. 60].

После “бархатной революции” 1989 г. (и особенно после распада Чехословакии) многие современные чешские историки начали пересмотр сложившейся в предшествующей историографии концепции гуситского движения, уделяя большее внимание его религиозному аспекту. Отойдя от прежних стереотипов, они приступили к более всестороннему рассмотрению проблем развития гуситской культуры. Стремление Чехии вступить в Евросоюз (ЕС) нашло отражение и в чешской исторической науке. Некоторые чешские историки “подняли на щит” концепцию Й. Пекаржа, считавшего, что после своего включения в состав монархии Габсбургов (т.е. интеграции в Европу) послегуситская Чехия достигла расцвета, а не пришла в упадок, как считалось ранее. Соответственно, и в гуситском движении некоторые чешские исследователи стали обращать внимание только на негативные черты (грабительские походы, уничтожение культурных ценностей, жестокость по отношению к католикам и т.д.), совершенно игнорируя аналогичные действия католиков (особенно во время крестовых походов против гуситской Чехии) [18].

Эти новые веяния в чешской историографии нашли отражение и в работах некоторых современных отечественных историков.

Проблемы гуситской культуры затрагивались в главе в коллективной монографии “История культур славянских народов” (2003) [19], которая принадлежит перу сотрудника Института славяноведения РАН Г.П. Мельникова. В разделе о чешской культуре гуситского периода автор, как и в своих учебных пособиях [20. С. 72–82; 21. С. 96–117], отметил, что гуситское движение было религиозным “по преимуществу”. Кроме того, он стремился доказать интерес гуситов к православию, приводя в качестве примера поездку Иеронима Пражского в Псков и участие его в крестном ходе и посольства гуситских священников (прежде всего, из ОЧБ) в Константинополь и Москву [19. С. 334].

Однако эти факты, неоднократно описанные в предшествующей литературе, в частности русскими историками-славянофилами XIX в., подвергнуты сомнению некоторыми современными исследователями [22; 23].

Заключительный вывод Г.П. Мельникова о том, что гуситская культура стала для Чехии фактором, “сдерживавшим включение ее в пространство европейского Возрождения” [19. С. 345] нуждается в некоторой корректировке. С нашей точки зрения, главной заслугой гусизма в культурном плане было развитие в Чехии предреформационной мысли (некоторые современные исследователи считают гуситскую идеологию реформационной), сделавшей рывок уже в сторону гуманистического, а не средневекового мировоззрения. Кроме того, именно в период гуситского движения реформированный и обогащенный новой терминологией чешский язык стал существенным фактором для дальнейшего развития национальной культуры и чешской народности [24].

Таким образом, можно констатировать, что за последние 60 лет исследование вопросов культуры Чехии гуситского периода прошло в отечественной литературе путь от акцентирования ее позитивных моментов до всестороннего анализа данной проблематики. Необходимо отметить, что советские историки вплоть до конца 1980-х годов были солидарны со своими чехословацкими кол-

легами, склонными к идеализации гуситской культуры. Лишь в 1990-е годы и в начале XXI в. отечественные исследователи (в частности, Л.П. Лаптева) перешли к более объективному рассмотрению культуры, отмечая упадок чешского изобразительного искусства и архитектуры в гуситский период, и более глубокому анализу не только положительных, но и отрицательных аспектов ее развития.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Лаптева Л.П.* Община чешских братьев в освещении русской дореволюционной историографии XIX – начала XX в. // *Folia Historica Bohemica*. 13. Praha, 1990.
2. *Лаптева Л.П.* Чешский мыслитель XV века Петр Хельчицкий и Лев Николаевич Толстой // Яснополянский сборник – 2002. Тула, 2003.
3. *Лаптева Л.П.* Пражский университет в русской историографии второй половины XX века // Вопросы истории славян. Воронеж, 1999. Вып. 14.
4. *Липатникова Г.И.* Новые труды по истории Пражского университета // Известия Воронежского гос. пединститута. Воронеж, 1972. Т. 115.
5. *Москаленко Е.А.* Община чешских братьев // Проблемы всеобщей истории. М., 1977.
6. *Рандин А.В.* Гуситская революция и Пражский университет. Йошкар-Ола, 1994.
7. *Резонов П.И., Санчук Г.Э., Озолин А.И.* Гуситское движение в новых работах чехословацких историков // Вопросы истории. 1954. № 10.
8. Историография истории южных и западных славян. М., 1987.
9. *Лаптева Л.П.* Гуситское движение в освещении чехословацкой историографии последнего двадцатилетия // Вопросы историографии зарубежной истории. Йошкар-Ола, 1991.
10. *Бучанов И.И.* Советская историография гуситского движения 20–40-х гг. XX в. // Вопросы славяноведения. Брянск, 2004. Вып. 6.
11. *История Чехословакии*. М., 1956. Т. 1.
12. История южных и западных славян. М., 1969.
13. История южных и западных славян. М., 1979.
14. *Поп И.И.* Искусство Чехии и Моравии в IX – начале XVI вв. М., 1978.
15. *Липатникова Г.И.* Восприятие элементов античной культуры в городской культуре Чехии XIV–XV веков // Средневековый город. Саратов, 1981. Вып. 6.
16. Краткая история Чехословакии. М., 1988.
17. *Лаптева Л.П.* Чешская культура в период гуситского движения в Чехии в XV веке // Средневековая городская культура. Тверь, 1991.
18. *Liška V.* Husitství. Konec jedného mýtu. Praha, 2003.
19. История культур славянских народов. М., 2003. Т. 1. Древность и средневековье.
20. *Мельников Г.П.* Культура зарубежных славянских народов. Для учащихся гимназий гуманитарного профиля. М., 1994.
21. Средневековая Европа глазами современных историков. Книга для чтения. М., 1994. Кн. 4: От средневековья к новому времени. Новый человек.
22. *Лаптева Л.П.* Русская историография гуситского движения (40-е годы XIX в. – 1917 г.). М., 1978.
23. *Лаптева Л.П.* Рец. на кн.: История культур славянских народов. Том 1. Древность и средневековье // Вопросы истории. 2004. № 7.
24. *Бучанов И.И.* Современная российская историография гуситского движения (1990–2005) // Славянский альманах. 2005. М., 2006.



А.А. ТОРТИКА. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – третья четверть X в.). Харьков, 2006. 560 с.

История Хазарии издавна была предметом пристального изучения специалистов. Ныне на Украине Харьковской государственной академией культуры издана рецензируемая книга Александра Александровича Тортика. Объемный труд состоит из шести глав основного текста, 45 страниц занимает библиография, имеются список сокращений и 11 рисунков (карт-схем).

Книга освещает более широкий круг проблем, чем это заявлено в заглавии, охватывая спорные вопросы Хазарского каганата в целом. Северо-Западная Хазария, по мысли автора, является особенно важным регионом лесостепного Подонья и Придонецья, где археологами была выявлена культура, получившая название салтово-маяцкой (конец VIII – начало X в.). Границы Северо-Западной Хазарии совпадают с ареалом распространения лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры; он включает памятники бассейнов верхнего течения Северского Донца, Оскола, Тихой Сосны, Дона. Название указанной археологической культуры давно принято научным сообществом, хотя и несколько условно; ареал памятников охватывает территориальную и этнокультурную общность населения, входившего, по мнению весьма многих исследователей, в состав Хазарского каганата. Автор поддерживает эту точку зрения и старается аргументировать ее своей системой доказательств, используя

письменные и археологические свидетельства. Отсюда проистекает широкая постановка в работе проблем, связанных с Хазарским каганатом в целом.

Хронологические рамки проблематики как таковой обусловлены временем существования Хазарии, однако для выяснения предпосылок и условий формирования региона в книге оказалось необходимым расширение временного периода: с VII по конец X в.

Автор уделяет внимание основным исследовательским работам археологов и источниковедов XX в., посвященным Хазарии. Среди них особо выделены ставшие классическими труды М.И. Артамонова, С.А. Плетневой, А.П. Новосельцева, названы разработки В.К. Михеева, Г.Е. Афанасьева, В.С. Аксенова и др. Ученые обобщали связь ареала салтово-маяцкой культуры с хазарской историей; эти же исследователи, а также И.И. Ляпушкин, Д.Т. Березовец и ряд других разделили памятники салтово-маяцкой культуры на два варианта: лесостепной – аланский и степной – протоболгарский. Автор обращается к трудам множества специалистов, отечественных и зарубежных, в соответствующих главах исследования. В процессе анализа проблем истории Хазарии привлекаются данные опубликованных и переведенных письменных источников: древнееврейских, византийских, древнерусских, арабо-персидских, армянских и т.д.

Первая глава (“Население Северо-Западной Хазарии: этнические и социальные структуры”) подразделяется на параграфы, в которых обсуждается этническая ситуация в период до образования Хазарского каганата. Обращено внимание на поливариантность погребального обряда носителей салтово-маяцкой культуры: катакомбные погребения принадлежали аланскому населению Подонья и Придонечья, а ямные (“грунтовые”) погребения – протоболгарским (тюркско-угорским или угро-тюркским) племенам. Различия в ямных погребениях, выявленные археологами, указывают на этническую неоднородность населения. Опираясь на исследования изрядного количества предшественников, автор полагает, что протоболгары в IV в. еще не обособлялись среди массы гуннских племен. Их выделение произошло лишь в конце V – начале VI в., однако кочевнический образ жизни не способствовал консолидации населения, что подтверждается как археологическими исследованиями, так и данными письменных памятников (Иордана, Прокопия Кессарийского, Захарии Ритора и др.). Кратковременное существование Великой Болгарии знаменовало лишь начало этнической и политической консолидации протоболгарского населения, которое оказалось затем в зависимости от Хазарии, так и не сложившись в единое образование.

Для характеристики этого процесса важно выявление границ Великой Болгарии, образовавшейся в первой трети VII в. под предводительством хана Кубрата. Подробно проанализировав точки зрения по данному вопросу, в которых выделяются “узкая” и “широкая” локализации Великой Болгарии, привлекая данные письменных памятников о расселении гуннских племен, А.А. Тортика приходит к выводу, что восточная граница проходила по Днепру, на юге и юго-востоке в ее состав входили Таманский полуостров и Правобережье Кубани до ее среднего течения. В состав конфедерации были включены и земли от восточного побережья Азовского моря, между устьями Кубани и Дона до восточных склонов Ергеней и Сарпинских озер. Сарпинские озера и просторы Ставропольской возвышен-

ности автор рассматривает как естественную границу между объединением Кубрата и территорией, в которой уже обитали хазары. Крымские степи, полагает исследователь, были заселены кочевниками как в период существования Великой Болгарии Кубрата, так и после ее распада. Северная граница Великой Болгарии могла проходить по югу лесостепной зоны между Днепром и Доном. А.А. Тортика рассматривает археологические данные, ландшафтные, климатические, гидрографические и пастбищные характеристики территорий, привлекает материалы этнографических наблюдений, относящихся к IX–XVIII вв., о хозяйстве интересующих его районов, свидетельства письменных памятников (кроме уже указанных, также “Армянской географии”). В результате автор приходит к выводу, что ядром объединения Кубрата были низовье Кубани, включая Таманский полуостров с Фанагорией, восточное побережье Азовского моря примерно до Маньча (зимник), часть Ставропольской возвышенности до верховий Егорлыка (летник); здесь располагалась основная масса утигуров, включая оногуров. Эта группа, как считает ученый, без сопротивления подчинилась хазарам и стала, вероятно, основой для формирования упомянутой византийским императором Константином Багрянородным Черной Болгарии. Территория вдоль Маньча, между Маньчем и Доном, в низовьях этих рек (зимник), в Ергенях и так называемой Высокой степи (летник) принадлежала владельческому роду оногуров Аспаруха, которые сохранили самостоятельность после сопротивления хазарам. Область западнее Дона в его низовьях, по северному берегу Таганрогского залива и Азовского моря до реки Молочной (зимник), на севере вплоть до нижнего и среднего течения Северского Донца (летник) принадлежали кутригурам или котрагам. Им же принадлежало пространство степного Крыма и Северо-Западного Приазовья (зимник) и степи левобережного Поднепровья (летник). Если теория об общем разделении территорий на летние и зимние пастбища вполне убедительна, поскольку опирается на неизменившиеся в целом условия с X по XVIII в., то предла-

гаемая автором идентификация территорий с данными “Армянской географии”, как и разделение территорий между племенными группами, носит несколько декларативный, не вполне доказательный характер.

Переход к освещению периода появления хазар в Днепро-Донском междуречье, автор приводит известные сведения из ряда письменных источников (писем царя Иосифа, “Армянской географии”, “Хронографии” Феофана и “Бревиария” Никифора) как подтверждение нахождения хазар в этом регионе в конце VII – начале VIII в., а также в районах Приазовья, Причерноморья, Крыма. Интерпретации недостаточно обоснованны, хотя привлекаются и построения археологов, относящие памятники типа Сивашовки и Перещипинского круга к протоболгарам или хазарам. Осветив существующие точки зрения, А. А. Тортика предлагает свою версию расселения хазар: степи Северо-Западного Прикаспия (современной Калмыкии и Ставрополя), Нижнего Поволжья и Волго-Донского междуречья; Западное Прикаспье и степной Крым как места нахождения ставок хакана; причерноморские крымские города как объекты желаемых владений, но необязательно постоянного присутствия; хазарское население в Днепро-Донском междуречье как военно-политический буфер, надзиравший за местным населением – протоболгарским в своей основе. Утверждается, что после хазарского вторжения в конце VII в. прежняя система расселения и племенная структура протоболгар нарушаются. Общим культурным фоном остаются памятники салтово-маяцкой культуры, в то же время наблюдается поливариантность погребального обряда населения, что объясняется его пестрым этническим составом. В захоронениях прослеживаются черты тюркского, угорского и иранского погребальных обрядов. Проникновение венгерских, огузских, печенежских, а затем и половецких племен, по мысли автора, привело не только к пестроте материальной культуры, но и к отсутствию консолидации протоболгарского населения, которое постепенно было ассимилировано.

Основными носителями салтово-маяцкой культуры на правобережье Дона и в районе Северского Донца с притоками были переселившиеся с Северного Кавказа аланы и протоболгары, входившие в состав Хазарского каганата с конца VII в. Если аланы, население оседлое, составляли единый массив, то протоболгары, будучи кочевниками, легче подвергались ассимиляции. Автор отвергает долгие годы существовавшую в советской науке теорию закономерного характера и прогрессивности перехода от кочевания к полуоседлости, а затем к полной оседлости. Отмечено, что ряд археологов (С.А. Плетнева, А.З. Винников, Г.Е. Афанасьев, В.С. Флеров и др.) выделяли разнообразные хозяйственно-культурные типы памятников, которые противоречат теории закономерного и поступательного характера процессов оседания населения, в том числе лесостепного Подонья–Приднестрия. Процесс седентеризации, характерный более для протоболгарского населения, в целом объясняется не эволюционным процессом оседания кочевых протоболгар, а конкретными историческими причинами: лишением привычных мест кочевания и необходимого для этого скота, потребностью в оседлых военнотерриториальных поселках на пограничьях, обеднением части населения и т.п.

В последнем параграфе главы дан краткий историографический обзор по теме социально-политической и военной структуры населения региона; особо отмечены работы, частично или полностью (а это, в основном, археологические труды) посвященные Северо-Западной Хазарии.

Переселение алан из предгорий Северного Кавказа в лесостепное Подонье А.А. Тортика объясняет, следуя гипотезе А.В. Гадло и В.К. Михеева, целенаправленными действиями хазарского правительства, сделавшего аланские поселения военизированными пограничными заставами. Отсутствие письменных свидетельств о них объясняется каким-то неизвестным переименованием алан, а также их нахождением на отдаленной территории. Аргументы, впрочем, мало убедительны, поскольку информация и о куда более отдаленных районах приходила к

средневековым писателям, а идея о перемне этнонима не имеет никакого подтверждения. Тем не менее автор считает доказанной гипотезу о военизированности алано-болгарского населения Подонья–Придонецья, прибавив в качестве решающих аргументов материалы погребений и оборонительных сооружений региона. Исследователь считает, что общество делилось на два социальных слоя – войско и военных вождей, как это было принято у всех кочевников Евразии. Основной его социальной единицей являлась большая семья, в составе которой выделялись нуклеарные семьи. Иной структурной единицей алано-болгарского общества региона была территориально-родовая община, состоявшая из нескольких больших семей, иной раз и разного этнического происхождения. Однако военная иерархия сохранялась и в таком обществе. Поскольку область входила в состав Хазарского каганата, как считает автор, в ней важную роль имел механизм наместников, которые управляли региональными структурами. Приняв введенный рядом исследователей термин “вождество” в отношении Хазарского каганата, А.А. Тортика склонен принять термин “каганат”, в который включает все системные признаки “сложного вождества”. Автор предполагает, что группы салтово-маяцкого населения соответствовали трем “сложным вождествам”, образовавшимся в бассейнах Верхнего Донца, Оскола и Тихой Сосны, контролировались они тремя “тудунами”, т.е. наместниками.

Первый раздел второй главы (“Северо-Западная Хазария в геополитической системе Хазарского каганата”) повторяет намеченные ранее приоритетные проблемы изучения региона, включенного в состав Хазарского государства. Подчеркнуто, что границы региона определяются в результате археологического изучения памятников лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры; отмечена роль торговых путей. Привлекаются данные письма испанского сановника Хасдая ибн Шафрута хазарскому царю Иосифу, сочинения арабского географа Ибн Русте, труда “Об управлении империей” Константина Багрянородного о расселении

ряда восточноевропейских народов; при этом автор приходит к выводу, что указанные источники не дают информации о населении Северо-Западной Хазарии.

Уделив внимание локализации “климатов”, упомянутых в трактате Константина Багрянородного, и кратко охарактеризовав существующие точки зрения, автор предлагает свою версию. Она состоит в том, что территория так называемых “климатов” в разное время представляла собой различные области: в VIII–IX вв. так назывались Херсон и Крымская Готия, в середине X в. “девять Климатов” Константина Багрянородного могут быть локализованы вдоль левого берега Кубани, в округе Таматархи, по обоим берегам Маньча и Сала, вдоль нижнего и среднего течения Дона по его левому берегу, вплоть до крепости Саркел. Возможно, один из девяти “климатов” относился и к части приморского Дагестана. По “косвенным ассоциациям” же можно предположить, считает А.А. Тортика, что и Северо-Западная Хазария вполне сопоставима с “климатами” текста византийского императора. Высказанная точка зрения, однако, основана на целом ряде допущений и предпочтений отдельных мнений (О. Прицака, М. Магомедова и др.), что ослабляет позицию автора.

Перейдя к информации еврейско-хазарских документов о геополитической ситуации в Восточной Европе в X в., исследователь отмечает, что сведений о Северо-Западной Хазарии там не имеется, что, по мысли автора, свидетельствует об отсутствии самостоятельной политической роли региона, хотя на самом деле это может объясняться простой незаинтересованностью источника. Разбирая данные Киевского письма, А.А. Тортика одновременно анализирует и критикует существующие точки зрения. На основании предположения о низком статусе торговой еврейской общины в Киеве в середине X в. и усиления роли Руси в международной торговле, связанной с усилением значения Киева, автор приходит к выводу о завершении хазарского влияния в Днепровском левобережье в середине X в.

Касается автор и данных Кембриджского документа и арабо-персидских

источников о походах русов первой половины X в. на Каспий в связи с проблематикой роли Хазарии. Упомянув существующие точки зрения, автор полагает, что до середины X в. хазары имели возможность совершать набеги на города Крыма, вели войну со “скандинавско-русской вольницей” под предводительством Хельгу, о которой рассказывают Кембриджский документ и ал-Масуди. Следует отметить, что доказательства идентичности сведений источников приведены лишь весьма косвенные. Общий вывод о том, что “представители Северных (Славия) и Поволжских (Арсания) русов могли, с согласия киевских князей или в союзе с ними, проникать в бассейн Черного моря, торговать там или вести грабительские набеги” представляется недостаточно обоснованным: сам автор в том же разделе пишет, что “активность киевских князей не может объяснить все события, связанные с участием русов”.

Последний параграф главы, озаглавленный “Место населения Северо-Западной Хазарии в военно-политической структуре Хазарского каганата: историческая реконструкция”, возвращает к ранее поднятой проблеме этнического состава населения региона в контексте политического положения Хазарии. Вопрос о статусе населения и существовавших социально-экономических отношениях решается на основе археологических материалов лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры и данных византийских и арабо-персидских источников. В связи с анализом возможного статуса представителей знати А.А. Тортика уделяет особое внимание династическим бракам хазарской аристократии, показывая на конкретных примерах стремление хазарских властителей выйти таким путем на международную арену, что в конечном итоге, как считает автор, им удалось. Практика междинастических браков, по мнению А.А. Тортика, могла существовать и в отношении социальной верхушки Северо-Западной Хазарии, хотя никаких данных об этом сохранилось не могло.

В третьей главе (“Керченский пролив и Дон в системе историко-географических реалий хазарского времени: по дан-

ным раннесредневековых восточных авторов”) на основании существующих переводов и современных исследований представлен очерк воззрений ряда восточных авторов IX–X вв. на Черное и Азовское моря и реку Танаис как на торговые водные пути. Сделан вывод о том, что до X в. позитивных знаний о Керченском проливе и нижнем течении Дона у арабских географов не было. Причиной этого названо отсутствие восточной торговли в VIII–X вв.

Касаясь представлений арабских географов ал-Масуди, ал-Идриси, ад-Димашки на бассейны Черного и Азовского морей, А.А. Тортика выделяет данные ал-Идриси о Керченском проливе как торговом пути. При этом указанные географы отнесены к так называемой “классической школе” арабской географии, однако это ошибка: к ней относятся ал-Балхи, труды которого не сохранились, и его последователи ал-Истахри и Ибн Хаукал. Отмечена малочисленность данных еврейско-хазарских документов, однако, как представляется автору, они могут тем не менее быть отнесены к Таматархе и Керчи. Уделено внимание материалам Феофана, Никифора и Константина Багрянородного о рыболовстве в крае, повторены выводы относительно представлений арабских географов о причерноморском регионе. На этих материалах сделан вывод о важности для Хазарии Керченского пролива как контролируемого торгового пути и Таматархи как таможенной заставы.

А.А. Тортика анализирует также сведения арабских историков о так называемой “реке славян” и приводит существующие переводы рукописей IX–X вв. Халифы ибн Хайята, ал-Балазури, Ибн А'сама ал-Куфи, Ибн ал-Асира о походе арабского полководца Марвана ибн Мухаммада в 737 г. на хазар. К сожалению, следование устаревшей литературе привело автора к ошибке: приведена цитата из книги А.Я. Гаркави о походе Марвана из книги ат-Табари, в которой на самом деле такой информации нет. В некоторых известиях упоминается “река славян”, до которой дошли войска Марвана. Перечислив существующие версии идентификации “реки славян” и варианты военных

действий, автор дает свою реконструкцию событий и предлагает идентифицировать “реку славян” с Кумой, а славян – с адыгскими племенами Предкавказья, отнеся известия к первой трети VIII в. Думаем, что в данном случае А.А. Тортика увеличил количество недоказанных гипотез.

Последующее же применение термина “река славян”, встречающееся в трудах Ибн Хордадбеха, Ибн ал-Факиха и ал-Гарнати, автор относит к иной, чисто географической, традиции. Первые два географа, по мнению А.А. Тортика, подразумевают или Волго-Донской путь в целом, или Волгу, ал-Гарнати же имел в виду только Оку.

В четвертой главе “Буртасы и Северо-Западная Хазария: проблемы локализации и идентификации”, кратко обозначив существующие точки зрения на проблему этнической идентификации народа буртасов, автор выделяет гипотезу Г.Е. Афанасьева о тождестве их и населения Северо-Западной Хазарии. К сожалению, при цитировании существующих переводов из сочинений арабо-персидских авторов о буртасах А.А. Тортика иной раз пользуется устаревшей литературой (в данном случае – сборником переводов Н.К. Караулова конца XIX – начала XX в.), что привело к ошибке: дана цитата из якобы сочинения ал-Балхи, в то время как давно установлено, что сочинение этого автора не сохранилось, а фрагменты принадлежат разным вариантам труда ал-Истахри, сохранившегося во многих списках и персидских переводах. Сопоставив данные археологических материалов с указанными выше сведениями, автор приходит к выводу, что выделяемые хозяйственно-культурные и этнические признаки применимы и к лесостепному варианту салтово-маяцкой культуры, и к мордовскому населению, и к другим этносам близлежащих регионов.

На основе высказанных соображений автор переходит к попыткам определения географических ориентиров, содержащихся в трудах рассмотренных арабо-персидских авторов, а также в еврейско-хазарской переписке и поздних источниках: трудах Рашид ад-Дина, Низами, Плано Карпини, древнерусском источнике.

Автор приходит к выводу, что буртасами в VIII–X вв. назывался союз племен, включавший как мордву, так и другие этносы, и что вопрос требует дальнейшего археологического изучения.

Тезис Г.Е. Афанасьева об идентификации описанной ал-Масуди реки Буртас с Доном и Северским Донцом автор отвергает. Приведя свидетельства ал-Истахри, Ибн Хаукаля и ал-Масуди о реке под названием Буртас, а также сведения ал-Масуди о Черном и Азовском морях, автор приходит к выводу, что река Буртас находилась в пределах Среднего Поволжья, а народ буртасов – в районе правого берега Волги, где он обитал на протяжении не менее 300 лет, когда в этом регионе господствовали хазары. В середине X в., вслед за ослаблением Хазарии, название буртасов, считает исследователь, могли унаследовать племена, подвергавшиеся иранскому влиянию. Автор полагает, что наименование носителей лесостепного варианта салтово-маяцкой культуры, будь то буртасы или аланы, не может быть выявлено на данном этапе. Следует отметить, что эти выводы мало связаны со сведениями указанных выше средневековых авторов.

Пятая глава (“Работорговля как фактор развития исторического процесса в Восточной Европе в период существования Хазарского каганата”) начинается обзором трудов по тематике. Отмечен прикладной характер вводного раздела, чем объясняется весьма умеренное количество обзораемых здесь работ. Тем не менее автор считает, что выделил основные историографические направления, тем самым наметив наиболее актуальные вопросы, связанные с основной темой книги. Их анализ проводится в следующих разделах.

Отметив контакты славянских племен (полян, радимичей, вятичей и северян) с алано-болгарским населением Северо-Западной Хазарии, установленные благодаря археологическим разысканиям, автор, отмечая отсутствие письменных известий, создает вероятную модель таких взаимоотношений. Сюда относятся спорадические набеги жителей Хазарии на славянские территории в конце VII – начале VIII в.; контроль военных гарнизо-

нов, находившихся в аланских крепостях по Северскому Донцу, Осколу, Дону, над славянами Днепровского левобережья и Подонья—Придонечья с середины VIII в. и уплата ими регулярной дани; постепенное избавление от хазарского влияния вследствие усиления племенных образований славян и ослабления Хазарии к концу IX в. На этом фоне рассмотрено значение термина “саклаб-сакалиба” арабских источников и сделан вывод о значении этого слова не только как “раб”, но и как этническое название, относившееся не только к славянам.

Касается А.А. Тортика и роли русов в качестве активных торговцев в Восточной Европе, в частности как работорговцев. Затронут вопрос о происхождении этнонима “рус”, проделан выборочный анализ точек зрения, поскольку историография огромна. Приведен ряд общеизвестных цитат из латинских, арабских, византийских, древнерусских источников. Автором принята теория о скандинавском происхождении русов, которые осваивали речные пути Восточной Европы с конца VIII в. Отмечена большая роль русов в международной торговле, создании торговых факторий и городов на Руси, а также их постепенная ассимиляция со славянами в процессе создания и развития Древнерусского государства.

В книге представлены известные материалы восточных, латинских, древнерусских источников о пленении представителей восточноевропейских народов в результате взаимных набегов, вывозе рабов из Восточной Европы, а также о торговых маршрутах, ведших на Каспий, в страны Ближнего Востока, на Балканы, Балтику и в Центральную Европу. По выводам предыдущего параграфа отмечено, что аборигенное население лесной и лесостепной зоны Восточной Европы было основным товаром в IX–X вв. Кочевнические общества, в том числе хазары, венгры, печенеги, половцы, мало использовали рабский труд, там пленники использовались главным образом как товар. Отмечено, что хазары участвовали в работорговле как монополисты нижневожского торгового пути, в то время как русы были активными торговцами, “собиравшими” живой товар в Восточной

Европе и направлявшими его по всему свету. Отмечается большое значение торговцев-евреев для региона Восточной Европы, а также, с первой четверти X в. и до начала XI в., возросшая роль хорезмийских купцов.

А.А. Тортика считает, что расцвет работорговли в Восточной Европе связан с ролью Арабского халифата, формировавшего спрос на рабов в мировой транзитной торговле. Этот тезис опирается на исследования О.Г. Большакова, однако относительно работорговли в Восточной Европе он должен был бы быть более аргументирован. Обозначены также заинтересованность Византии в рабах и роль русов в их поставке в Византию. Автор повторяет вывод нумизматов о роли волжского торгового пути в VIII–IX вв., активизации днепровской водной дороги с середины IX в., параллельном функционировании волжского и днепровского маршрутов в X в. Исследователь полагает, что работорговлю можно рассматривать как одну из составляющих процесса формирования государственности в отношении Древней Руси.

В начале заключительной главы (“Северо-Западная Хазария и Доно-Донецкий торговый путь в середине VIII–середине X в.”) подвергнуты критике теории о существовании в VIII–X вв. Донского или Северскодонецкого пути, связывавшего юг и север Восточной Европы, и о непосредственных связях мусульманского купечества с указанным регионом. Еще раз привлекая данные восточных источников о славянах, автор приходит к выводу об отсутствии постоянных связей восточных торговцев со славянами Днепровского левобережья или Подонья.

Отдельный раздел посвящен историографии изучения торговых путей в Восточной Европе в IX–X вв. Автор указывает точки зрения, согласно которым историки выделяли Ладогу и Ладожскую область, бассейн Дона, бассейн Оки и Днепровское левобережье в качестве исходных районов начала торговли или как области транзита монетного серебра из мусульманского мира. Проанализированы мнения А.Н. Кирпичникова, И.В. Дубова, В.В. Кропоткина, Н.Ф. Котляра, А.Л. Монгайта, Т.Н. Никольской, А.Е. Леонтьева,

В.Я. Петрухина, В.Л. Янина, А.А. Быкова; привлечены разработки других ученых по данным восточных источников, о которых неоднократно шла речь ранее. Автор поддерживает позиции тех ученых, которые отвергали развитую торговлю по всему волжско-донскому пути и выделяли отрезки, частично использовавшиеся для транзитной торговли.

Остановившись на физико-географических характеристиках природных условий для речного судоходства по Дону и Северскому Донцу в эпоху Средневековья, с опорой на исследования в этой области предшественников, автор еще раз выделил большую роль походов скандинавов на севере Восточной Европы, их пути к Волге. Особо отмечено отсутствие следов их торговой деятельности на Северском Донце. Началом восточной торговли с Хазарским каганатом предложено считать конец VIII в., когда завершается этап набегов хазар на Закавказье и период рейдов арабов на Северный Кавказ. Алано-болгарское население края не было вовлечено в торговлю такого рода, о чем свидетельствует отсутствие кладов куфических монет. Находки керамики же демонстрируют вовлеченность местного населения в обмен товаров сельского хозяйства с крымским регионом и Таманью.

В “Заключении” автор отмечает, что его исследование является лишь вероятной моделью исторического процесса в рассматриваемом регионе, поскольку письменных памятников недостаточно, а археологические, нумизматические и другие материалы не могут дать точного ответа на поставленные вопросы. Подчерк-

нуто, что регион населяли протоболгары и аланы, находившиеся в подчинении Хазарии, хотя сами хазары в Днепро-Донском междуречье не обитали. А.А. Тортика предполагает, что степень самостоятельности региона в разное время зависела от усиления или ослабления центральной хазарской власти, а его население смогло сохранить самобытность.

А.А. Тортика рассмотрел основные проблемы Днепро-Донского региона, связанные так или иначе с Хазарией: этнический состав населения, степень его включенности в геополитическую систему Хазарии; уделил внимание торговле и работорговле, водным торговым путям и степени участия населения региона в торговле. Попутно решаются, с разной степенью доказательности, такие издавна существующие проблемы, как идентификация упомянутых в восточных источниках народов “буртас” и “сакалиба”, а также “реки славян”, маршрут похода арабского полководца Марвана ибн Мухаммада и т.д. Остается лишь пожалеть, что, видимо, при наборе произошли досадные ошибки: “Фредегарт” вместо “Фредегар”, “Менанд” вместо “Менандр”, Хроника Захария Ритора вместо Захарии Ритора, “кондоминимум” вместо “кондоминиум”, народ “г-б-лимс” вместо “г-б-лим” и т.д.

В целом же монография является еще одним существенным шагом в разработке хазарской проблемы.

© 2007 г. Т.М. Калинина

Славяноведение, № 5

Святые князя-мученики Борис и Глеб / Исследование и подготовка текстов Н.И. Милютенко. СПб., 2006. 432 с., илл.

“Лежит сей на падение и на восстание многим и в знамение пререкаемое” (Лк. 2:24). Евангельские слова о Христе

продолжают сбываться на христианах, особенно если они – первые святые нового христианского народа. Странность ис-

тории свв. князей Бориса и Глеба и странности литературы, рожденной их подвигом, сродни отстраненности Евангелия от “мира сего”. Поэтому всякое новое исследование, посвященное исторической и литературной судьбе свв. Бориса и Глеба, вызывает пристальное внимание исследователей и читателей. В последнее время *Borisoglebica* обогащалась в основном научными статьями, посвященными отдельным, пусть даже очень значительным аспектам этой драмы XI в. Публикация новой книги, претендующей на всестороннее освещение проблемы в ее историческом и историко-литературном аспектах провоцирует особый интерес. Автор неоднократно обращалась к “борисоглебской теме” начиная с 1990-х годов, и рецензируемый труд стоит рассматривать как определенный итог многолетних изысканий [1. С. 65–81; 2. С. 121–128]. Необходимо добавить, что, принадлежа традиции отечественной историко-филологической школы, книга оказалась во многом нетрадиционной как по авторским взглядам, так и по своей структуре. Текст книги строится на иерархии частей, глав, разделов, публикаций и приложений, которые требуют раздельного анализа.

Первая часть, “Исследование” (С. 5–282), начинается введением, где читателю напоминают наиболее острые проблемы историографического характера и раскрывается структура книги. Первая глава – “Святые Борис и Глеб и правители-мученики” (С. 14–56) – сразу включает повествование в общеевропейский христианский контекст. Раздел 2 “Правители мученики – от языческой жертвы к христианскому самопожертвованию” (С. 15–39) ставит свв. князей в один ряд с Эдвином (†633) и Освальдом (†642) из Нортумбрии, Эдмундом Английским (†870), Олафом Норвежским (†1030), Сигизмундом Бургундским (†524), Эдуардом Английским (†978), Людмилой (†921) и Вячеславом Чешским (†929/935), Кнудом Датским (†1086), Эриком Шведским (†1160), Игорем Черниговским (†1147) и Андреем Боголюбским (†1174). Характерный для них особенный тип святости отличается отсутствием общей образной модели при сходстве посмертной судьбы и параметров формирования культа (С. 31), кото-

рый мы бы назвали “социальной компенсацией”: главные чудеса, творимые правителями-мучениками, связаны с идеей прижизненных суда и воздаяния.

Раздел 3, “Прославление свв. Бориса и Глеба при Ярославе” (С. 39–49), почему-то выпавший из оглавления (С. 429), анализирует предполагаемую автором хронологию сложения и распространения почитания свв. князей, указывает на пассивность князя Ярослава в этих процессах, следующего воле вышгородцев и использующего их благочестие в своих целях. “Изнесение” мощей архиепископом Иоанном и строительство нового храма князем Ярославом предельно сближаются во времени и отнесены к 1051/1052 гт. На вопрос: “Когда были канонизированы Борис и Глеб?” (С. 49–56), автор однозначно отвечает: “Только 2 мая 1115 г.” (С. 54), хотя ранее было указано, что канонизация произошла “не позднее 1072 г.” (С. 5).

Вторая глава – “История подвига святых Бориса и Глеба” (С. 57–133) – начинается с перечисления источников, посвященных свв. Борису и Глебу, общими мазками рисуя авторскую генеалогию и хронологию произведений, что в дальнейшем станет предметом доказательств. Глава представляет широкое историко-историографическое полотно, в котором описывается предыстория борьбы за власть в 1015–1019 г., события 1015 г., причем особое внимание обращается на информацию Яна Длугоша и Титмара Мерзебургского, и война 1016–1019 гт.

Скандинавские памятники “Прядь об Эймунде” и “Сага об Ингваре путешественнике” привлекаются автором для изучения вопроса о смерти Святополка, естественной или насильственной (С. 124–133). При этом Святополк отождествляется с Бурицлейвом саг, а само имя связывается с “забытым славянским правителем”, который в данном случае соответствует Болеславу как союзнику бывшего киевского князя (С. 127, 132). Автор сопоставляет прямые утверждения саг об убийстве Святополка с аллюзиями библейского и церковно-исторического характера на его бесславную кончину у древнерусских авторов. Исследование склоняется к версии, что Святополк был убит (Ярославом?).

С третьей главы, “Сказание, и страсть, и похвала” (С. 134–177), начинается собственно исторический и текстологический анализ памятников, посвященных свв. князьям. Именно здесь, по моему мнению, читателя ждет одно из главных открытий книги, которое весьма убедительно. Автор доказывает, что сохранившаяся редакция “Анонимного сказания” представляет собой текст “Сказания” начала 1050-х годов (С. 170–172), дополненный вставками из статьи 6523 г. гипотетического Начального свода 1090-х годов, которая сохранилась в Повести временных лет. Это и привело к повторам и противоречиям в тексте памятника, окончательно сложившемся после 1115 г. (С. 135–160).

Стилистическое сравнение летописи и самого “Сказания” выявляет, по мнению Н.И. Милютенко, характерные для последнего библеизмы и антитезы и демонстрирует несомненное знакомство книжника с текстом Древнейшего свода (С. 160–166). Одновременно указывается на первоначальность во всем литературном цикле летописного рассказа, непосредственно от которого зависит Пролог (С. 166–172). Исследование скорее признает автором “Сказания” Иакова мниха (С. 136, 172–177), дополняя уже существующую аргументацию собственными наблюдениями о единстве системы повторов и стилистическом сходстве этого произведения и “Памяти и похвалы”.

Четвертая глава – “Сказание чудес” (С. 178–211) – выделяет этапы сложения самого “Сказания”, начиная с 1072 г. (С. 180–183). Оно возникает на основе гипотетических “вышгородских записок” Ярослава времени (после 1051 г.?) (С. 188–201, 205), которые уже на раннем этапе своего развития характеризуются мотивами социальной справедливости в становлении народного почитания князей (С. 183–188). В качестве доказательства сложения первой редакции “Сказания” сразу после 1072 г. используется и развивается известная гипотеза Д.В. Айдалова о составе миниатюр Сильвестровского сборника XIV в. как отражении протографа, восходящего к тому времени (С. 190–194, 206–211).

В пятой главе – “Паремийные чтения святым Борису и Глебу” (С. 212–248) – выдвигается версия о превращении собственно агиографических текстов в литургические и дается их текстологическое сравнение с летописными статьями с целью выявления интерполяций. Автор предлагает собственную версию о том, что паремии, сложившиеся после 1054 г., восходят к одной из ранних редакций гипотетической “Повести о мести”, лежащей в основе “Анонимного сказания”.

В шестой главе, “Чтение о житии и погублении блаженную страстотерпцу Бориса и Глеба, творение Нестора” (С. 249–277) дается характеристика личности и творчества Нестора на основе предшествующей историографии, разбираются композиции чтения, выявляются его возможные источники, прежде всего, одно среди гипотетических промежуточных редакций “Анонимного сказания”. Отдельные разделы посвящены особенностям стилистики произведения и образов свв. князей, выписанных Нестором, в контексте его агиологических предположений.

Читатель, ожидающий найти в заключении (С. 278–282) цельную авторскую схему истории исследуемых произведений, будет несколько разочарован. Здесь его ждет краткий обзор дальнейшего почитания святых князей в XII–XVII вв. и его литературное отображение. Впрочем, он может вернуться назад, поскольку видение автора кратко изложено еще при начале характеристики источников (С. 57–58). В целом это видение скорее соответствует исторической схеме взаимоотношения памятников, созданной С.А. Бугославским, точно так же как в хронологии *canonisation per viam cultus* ощущается мощное влияние А. Поппэ, весьма комплиментарно относящегося к Н.И. Милютенко [3. С. 68]. В данном случае автор пытается дополнительно обосновать предложенные мэтром гипотезы и отвержения.

Нельзя не отдать должное именно такому построению текста книги. Ее структура, основанная на “обратной перспективе”, не позволяет интеллекту ни на мгновение притупить бдительность внимания. В отличие от традиционной схемы, которая предусматривает изначаль-

ный анализ источников, на основе чего и создается историческая реконструкция, автор меняет слагаемые местами, предоставляя читателю свободу изменения суммы. Это не отменяет надежность результата, но меняет угол восприятия.

В подобной перспективе, помимо достоинства, есть и определенная сложность. История событий и самих текстов изначально ставятся в зависимость от историографического и агиологического контекстов, вторичных по отношению к исследуемым событиям как самого подвига, так и его описания. Созданное несколькими поколениями исследователей видение событий 1015–1115 гг., подчас противоречивое, превратилось в самостоятельный исторический источник, основные положения которого иногда, как кажется, довлеют над характером исследовательской работы. Прежде всего, это сказывается в вопросах хронологии и взаимных отношений памятников “борисоглебского цикла” и их “заикленности” на событиях канонизации.

Несмотря на то что автор признает всю условность терминов “прославление” и “официальная канонизация” и их несоответствие древнерусской практике (С. 55–56), они продолжают оставаться одними из самых употребляемых в работе. “Канонизационная” идея современной практики Московского патриархата, опрокинутая в Средневековье словно приворожила исследователей. Архимандрит Макарий (Веретенников) полагал, что на канонизацию свв. Бориса и Глеба была получена особая санкция патриарха Вселенского [4. С. 5]. Автор, говоря о святости другого князя – Игоря Черниговского, также считает, что она нуждалась в высшей санкции. В книге говорится об установлении его “официального почитания” на соборе 1547 г. (С. 24; на с. 26 этот собор почему то назван “Стоглавым”). Однако ни в одном из семи списков соборной грамоты, известных на сегодняшний день, имени св. Игоря нет [5. С. 74–86].

Я не намерен возвращаться к славянофильской дискуссии о том, насколько латинский термин “канонизация” отражает содержание православного “причисления к лику святых” [6. С. 528–535; 7. С. 146–165]. Речь идет лишь о том, что так и не

доказанное сближение во времени “изнесения мощей” архиепископом Иоанном и строительство церкви князем Ярославом лишает культ святых братьев своего исторического развития. Это развитие обособленно раскрывается автором как “превращение” “ежегодного поминовения чтимого усопшего” в “празднование памяти святого” (С. 43, 56). Однако ему просто не остается места в истории, хотя выше говорилось об укорененном в истории, социальном характере такого почитания.

Автор отказывается от возможности датировать перенесение мощей в пределах 1020–1039 г. (С. 45). Фраза самого раннего списка “Сказания чудес” о том, что построенный Ярославом храм начал ветшать “минушемъ летомъ 20”, когда Изяслав Ярославич и замыслил создать новую церковь, без колебаний отнесена к событиям весны 1072 г. – времени освящения нового однокупольного храма и перенесения мощей, состоявшегося 20 мая. Однако это основывается на ряде допущений, не вытекающих с необходимостью из имеющихся памятников. В действительности начало ветшания церкви, намерение князя построить новый храм и его исполнение могли быть растянуты во времени (20 февраля 1054 – 20 мая 1072 гг.) и лишь под пером книжника хронологически ужались. В этом случае установление празднования святым братьям 24 июля может быть отнесено к 1034–1052 гг., или даже ранее, если понимать фразу “Сказания” таким образом, что ко времени “ветшания” храм простоял не менее 20 лет. К тому же тексты начала XVI в. говорят, что пресловутые 20 лет минули “по умертвии” князя Ярослава [8. С. 505]. Очевидно, что это хронологическое указание имеет условную ценность.

Впрочем, автор, очевидно чувствуя некоторую недоказанность гипотезы, так и не высказалась определенно по поводу даты – строительство и прославление отнесены то к 1051–1052 гг. (С. 49, 57), то к 1051 г. вообще (С. 50), то к 24 июля 1051 г. (С. 54), то ко времени “около 1050 г.” (С. 169, 200). Для этого приходится “колебать” и без того неустойчивый диптих русских митрополитов XI в. (С. 50–51). Если в исследовании

пребывание архиепископа Иоанна на Киевской митрополии в конце 1040-х – начале 1050-х годов предстает лишь в качестве гипотезы, то комментарии более категоричны: “Обычно его считают преемником Феопемта” (С. 342). По мнению автора, Иоанн был жив еще 24 июля 1051 г., тогда как интронизация Илариона должна была состояться уже в августе того же года (С. 54).

Представляется, что такой взгляд на историю официальной канонизации задан уже упоминавшейся позицией исследователя о “запоздалом” характере интереса Ярослава к посмертной судьбе своих братьев (С. 42–43). Оправданный скептицизм в отношении официозной “проярославовой” версии не должен отделять критику источника от ее нравственного императива: “Мы должны предполагать, что автор знал и хотел рассказать истину, а не ставить с первого же слова вопрос о возможности и желании автора сообщить истину” [9. С. 20].

Обратимся к событиям в интерпретации автора. Строительство церкви князем Ярославом и перенесение мощей названы в книге “прославлением”, тогда как канонизация относится к более позднему времени. 1072 год сразу исключается – событие 20 мая не задержалось в богослужебном цикле, и удивленный редактор ПВЛ был вынужден исправить 20 на 2, тогда как аноним “Сказания чудес” вообще не упомянул эту дату. Автор считает, что канонизация связана с установлением постоянного дня праздника святого. Это и произошло 24 июля, что, согласно исследованию, состоялось в начале 1050-х годов. Празднование 2 мая 1115 г. было установлено вследствие сложения качественно нового этапа уже развитого культа. К тому же “Чтение Нестора” связывает с Иоанном и Ярославом написание иконы святых князей – один из главных признаков свершившейся канонизации во Вселенском патриархате XI в. [10. С. 47]. Достоверные подробности, которые для А. Поппэ являются свидетельством искусственной интерполяции в текст конкретного сюжета [3. С. 56], оказываются автором не востребованы в полной мере в процессе источникововедче-

ского анализа, очевидно, не без влияния самого авторитета.

Впрочем, обязательно ли в начале 1050-х годов? Выше мы попытались показать, что такая версия события не вытекает с необходимостью из текста. К тому же 24 июля не только приходилось на пятницу Альтской битвы 1019 г., что, вслед за А.А. Шахматовым, отмечает автор, но и на воскресенье убийства на Альте в 1015 г. Совпадение места, о чем не преминули сообщить древние авторы, настолько естественно дополнялось совпадением времени, что не требовало специальных указаний. День кончины Бориса действительно мог быть днем победы Ярослава и стать днем перенесения мощей святых братьев. В тексте “Чтения” есть, на наш взгляд, неустраиваемые хронологические указания. Здесь сообщается, что после 24 июля неизвестного года праздник продолжался седмицу (до восьмого дня или начала Успенского поста 1 августа). Лишь после этого архиепископ Иоанн установил в новом храме “вседневную службу”. Упоминание о повседневной службе соответствует средневековой практике совершения литургий по праздничным и воскресным дням. Не приходилось ли освящения храма Ярослава и перенесение мощей на воскресный день, совпавший с 24 июля? Реально таких возможностей три: 1026, 1037 и 1043 гг. С учетом того, что, как кажется, Нестор последовательно упоминает строительство храма в Вышгороде и завершение созидания Софии Киевской, 24 июля 1026 (к чему склонялся и А.А. Шахматов) или 1037 гг. как дата канонизации выглядит предпочтительней.

Несмотря на признание аргумента “*ex silentio*” не надежным, автор продолжает им пользоваться, что и заставляет отнести канонизацию братьев к 1115 г. (С. 52, 54). Однако отсутствие в памятниках “борисоглебского круга” и в “Слове о законе и благодати” митрополита Илариона упоминаний о Борисе и Глебе как о святых, точно также как и дней их памяти в месяцеслове Архангельского Евангелия 1092 г. и в уставе №1136 Софрийского собора, не противоречит возможности их раннего почитания и прославления (С. 54, 170, 244). К тому же автор не учитывает

данные памятников конца XI – начала XII в. – июльской минеи из собрания РГАДА (Син. Тип. 121; Л. 28об–31) и кондакаря при Студийском Уставе из собрания ГТГ (ГТГ К5349) [11. С. 92–95].

Сетование летописца под 1015 г. о недостаточном почитании на Руси князя Владимира также рассматривается как прямое указание на то, что к 1118 г., времени составления последней редакции ПВЛ, князь еще не был “признан святым” (С. 5). Последний эпизод вообще должен пониматься не как историческая реалья, а как общее место православной гомилетики, не упускающей возможности напомнить о недостатке веры у своих современников. Отсутствие же упоминаний о святости Бориса и Глеба в памятниках явно агиографического или литургического жанра стоит связать либо с географической степенью распространенности их почитания, либо с особым менталитетом эпохи, который в условиях формирующегося лексикона не требовал показного проявления пietetа. Произведение же Иларiona вообще посвящено иной теме и произнесено с иной целью, что и объясняет факт умолчания здесь “новых русских” святых. Его историософско-генеалогическая концепция, устремленная в эмпереи, не требовала упоминания святых с “социально-утилитарными” функциями, “увязшими” в повседневной эмпирике.

Недосказано, на наш взгляд, и предположение о сравнительно позднем перенесении обоих братьев в Вышгород (конец 1020 – начало 1030 гг.). Упоминаемая в источниках “заброшенность могилы” святых должна рассматриваться не как реальный хронологический указатель, а как всего лишь агиографический штамп, традиционно подчеркивающий неподобающее “беспамятство” современников накануне “момента истины”. Штамп, близкий по содержанию к “неверию” митрополита Георгия в 1072 г. (С. 43).

Эти события вполне могли уложиться в интервал 1019–1024 гг., от Альты до Лиственя. Предание о варяге с эксклюзивными подробностями, попавшими в “Чтение” печерского монаха Нестора, хорошо соответствуют отношениям монастыря с другим варягом – Шимоном, от которого и могла быть услышана сама

история. Брат и враг последнего Якун, то ли красивый, то ли слепой, как раз был союзником Ярослава, специально прибывшим на Русь к Лиственской битве. Стоит напомнить, что слепота – традиционное наказание за непочтение к святыни.

“Канонизация” выправляет, соответственно, и историю литературных памятников. Летописный рассказ свода 1037 г. признается древнейшим (С. 56, 166–172). От него зависит Проложное чтение, составленное еще до 1050-х годов и появления Начального свода. Это доказывается тем, что в нем не упоминаются ни перенесение мощей, ни место погребения Бориса, ни имена таких персонажей, как Георгий Угрин, Предслава и убийцы Бориса. Однако здесь использовались выдержки из Хронографа по Великому изложению, переведенные в тоже время и попавшие в Древнейший свод (С. 57, 168–169). В 1045–1053 гг., еще до причисления братьев к лику святых, создается гипотетическая “Повесть о мести Ярослава за убитых братьев”, использовавшая торжественно отредактированный рассказ Древнейшего свода (С. 58, 94, 122, 235, 242, 243). Возможно, она и читалась в храме как раз 24 июля, начиная 1051 г. (С. 245).

К началу 1050-х годов складывается стихийное почитание братьев (С. 244) и происходит появление первой редакции “Анонимного сказания” – “Сказание страсти”, которое было приурочено к перенесению мощей, но могло редактироваться вплоть до 1072 г. (С. 57, 126, 171–172). Оно уже включало летописные фрагменты Древнейшего свода, лишая их “скупого образности” (С. 165, 166). Окончательное оформление памятника связано со вставками из Начального свода 1090-х годов и описанием событий 1115 г. (С. 57, 172).

“Повесть о мести” стала основой и для Никоновского свода 1070-х годов, и для “Исторических паремий” (С. 124). Паремии возникли в Вышгороде на основе древнейшей летописи, “Повести” и Паремийника (С. 58, 245), возможно, вскоре после 1072 г., но в любом случае после смерти Ярослава (С. 246), потому что совместное упоминание победы на Альте и поражения на Листвене (С. 229) звучало бы “насмешкой над князем”. Но не явля-

ется ли такое мнение модернизацией? Действительная цитата из описания битвы 1024 г. “за руки ся емлюще” воспринимается не как насмешка, а как риторический элемент, тем более что сам автор свидетельствует о типичности в описании Ярославых битв (С. 234).

Не могу согласиться и с тем, что мнимый повтор в исторических паремиях: “И собра Ярослав варяг поиде на Святополка, восприим Авраамлю доблесть.... <...> Тако и сии Ярослав, нови Авраам, поиде на Святополка” свидетельствует об интерполяции литургического памятника летописным текстом и нарушает логику изложения (С. 227, 234). В действительности это стилистический ход, риторический плеонастизм, характерный для церковно-библейской литературы. Вторичное упоминание о том, что Ярослав “поиде” соотносится не с первым упоминанием о князе, а с Авраамом, который “собра люди своя... и поиде до Дана”: “Тако и сии... поиде на Святополка” (С. 348).

Трудно принять также мнение по поводу жанровой принадлежности “исторических паремий”, которые, согласно автору, не были в сознании книжника сакральным текстом, идентичным библейским паремиям (С. 246–248). Здесь несомненно прав Б.А. Успенский [12]. Действительно, особое, “Иларионовское” сознание Древней Руси вписывало в священную историю новую страницу. В этом контексте история отождествима с Библией, поскольку и та и другие есть “свидетельство” о деяниях Бога в человеке. Такая литургическая инновация сочеталась с логикой развития богослужения, которая на апостольские праздники предлагала замену ветхозаветных чтений новозаветными. Другое дело – оценивать сегодня эти этнофилиетические инновации с точки зрения вселенских церковных истин.

Неочевиден и другой аргумент: о том, что краткость уставного указания “на вечерни чтения Г” могла породить неясность у заказчиков и пользователей рукописей XIII–XV вв. в отношении первоначального назначения “исторических текстов”, что и привело к “отождествлению житийного чтения с паремийным” и к его ассоциации с “Бытием Святой Руси” (С. 248). Подобная литургическая ремар-

ка в условиях непрерывной богослужбной традиции не могла восприниматься практикующим клириком иначе, чем указание на положенные на вечерни чтения исторического или назидательного характера, взаимозаменяемые с собственно библейскими текстами. Логичнее предположить, что исторические паремии возникли как элемент богослужения уже при “изнесении мощей” в 1026 (1037–?) г. Вообще же нам кажется, что время и контекст рождения паремий на вечерни стоит совместить с историей и смыслом Проложного чтения, положенного на утрени на тот же самый праздник 24 июля. В любом случае последнему памятнику присуща оригинальная ономастическая логика, которой не откажешь в изящном историзме. Повествование начинает рассказывать о Борисе и Глебе, а заканчивает – Романом и Давидом (С. 404–406).

“Чтение” Нестора, согласно автору, создано в 1078–1088 гг., вероятнее, в первой половине 1080-х годов на основе одной из редакций “Анонимного сказания”, летописи и раннего варианта “Сказания чудес” (1072–1076–?) (С. 58, 172, 256–257), поскольку источник Нестора здесь заканчивался четвертым чудом (С. 205–206). Пятое и шестое чудо были им описаны не на основании “вышгородских записок”, а со слов непосредственных участников событий (С. 268). Несмотря на признание правдоподобности версии Нестора об убийстве Глеба и достоверности его устных рассказов (С. 265, 268), чудесное избавление узников, отнесенное книжником ко времени Ярослава, не имеет ничего общего с вышгородскими узниками Святополка – “это совершенно другая история” (С. 268, 401). Жаль, что при содержательном анализе “Чтения” была упущена присущая ему “Иларионовская концепция” 11 часа (С. 358, 360), сближающая его с памятниками середины XI в.

Определенную сложность составляет и соотношения “Чтения”, “Сказания чудес” и гипотетических “Вышегородских записей”. Составление “Сказание чудес” связано с творчеством вышгородского священника Лазаря в 1072–1076/1087 гг. Перерыв был вызван его уходом на игуменство в Выдубицкий монастырь (не позднее 1088 г.), а возобновление связано

с вокняжением в Киеве в 1113 г. Владимира Мономаха, находившегося под влиянием того же Лазаря, ставшего в 1105 г. епископом в Переяславле (С. 185, 203). Записи, по мнению автора, и послужили общим источником “Сказания чудес” и “Чтения” (С. 198).

Одним из доказательств именно такого развития событий всегда служила гипотеза о том, что Нестор целиком выпустил историю строительства “храмины-клетки”, описанную в “Сказании”. Но это не добавляет к нашему знанию ничего нового, лишь делает рассказ более логичным (С. 320). История с упоминанием “перждереченной клетки”, куда были перенесены мощи князей, может объясняться элементарной гаплографией, хотя именно на этом эпизоде традиционно строилась теория письменного источника для Несторова “Чтения”.

Аналогичным образом считалось, что в свою очередь Лазарь опустил все развернутую у Нестора историю строительства пятиглавого храма времен Изяслава (С. 322, 324, 384, 386). Автору “Сказания” вменяли в вину нарушение логики, произошедшее из-за этого пропуска: сначала перенесли мощи, потом осветили церковь (С. 199). Однако это недоразумение. Речь идет о риторической формуле, предполагающей симметрию в изложении текста: “Принесоша святая и церковь святиша/церкы священна и принесена бысть святая”. Ни о каком пропуске речь не идет, что ставит под сомнение гипотезу о едином исходном тексте.

Вообще же, Нестор постоянно ссылается не на записки, а на устную традицию, что представляется более достоверным, чем искусственное дробление “Сказания” на чудеса. К тому же, в случае использования записок непонятно происхождение уникальных подробностей Нестора. Неясна и хронологическая приуроченность четвертого, пятого и шестого чудес (контекст “Чтения” не позволяет отнести их однозначно ко времени после 1072 г.), а конкретная датировка чуда освобождения из темницы остается спорной, если даже допустить, что мы имеем дело с двумя разными событиями (до 1054, 1093–1113 гг.). Считаю, что пробле-

ма соотношения “Чтения” и “Сказания” не может считаться до конца решенной.

Отмечу, что и некоторые другие интересные гипотезы исследования также не могут быть доказаны на основе имеющейся убеждающей системы. К их числу относятся и предположения относительно насильственной смерти Святополка (С. 131), возникающие при сопоставлении поздней и не всегда достоверной информации скандинавских саг с образной системой древнерусских памятников, сравнивающих смерть братоубийцы с судьбой Юлиана Отступника (“Сказание” и “Чтение”) и Авимелеха (“Исторические паремии” и ПВЛ) (С. 160, 352). Однако не стоит видеть в этих сравнениях исторические реалии XI в. И смерть Юлиана, и гибель Авимелеха являются теологемами, в которых смерть преступника есть лишь завершение Божественного промысла о нем, “отмщение от Господа” древнерусских текстов, без относительно орудия этого отмщения. Образ жернова в библейском богословии является олицетворением человеческого бытия вообще, а разрушение жерновов – символом его конца (Втор. 24:6; Еккл. 9:53; Плач 5:13; Иер. 25:10; Мф.24:41; Откр.18:21). Сравнение смерти Святополка с гибелью Авимелеха от “уломка жернова” могли быть сопоставимы для древнерусского книжника и его читателя с пророчеством Спасителя о судьбе соблазнившего “единого от малых сих”, которому было бы лучше погибнуть в пучине с жерновом на шее (Мф.18:6). Здесь же речь шла о человеке не соблазнившем, но убившем своих “малых” братьев.

Вообще же “расслабление” Святополка и злосмрадие его могилы по своей осязательной образности сродни евангельскому описанию гибели Иуды и Ария (Деян. 1:18; Сочг.НЕ, I:38; Соz.НЕ II:29–31). И в том и в другом случае рассевшееся чрево порождает коннотации нечистоты и дурного запаха, дополненные во втором случае еще и тем, что кончина ересиарха случилась в общественном туалете Константинополя. Однако “естественность” такой кончины в обоих случаях очевидна.

Не могу обойти и близкую мне тему археологических свидетельств почита-

ния святых. Автор упоминает традицию изготовления и использования “борисоглебских” энколпионов (С. 279), которая, впрочем, не имеет точной хронологии, поскольку наиболее ранние датированные образцы из Новгорода относятся ко времени около 1135 г. [13. С. 87, 111]. В работе высказывается интересное предположение, что внутри этих реликвариев помещалась “молитва” (С. 280). Характер “молитвы”, вернее, того материала, на котором она могла быть начертана, не указан. Все же отметим, что современные исследования, в том числе и с применением естественнонаучных методов, позволяют заключить, что в кресты чаще всего вкладывались мелкие частицы мощей или фрагменты нитей и тканей, залитые воскомастиком [14].

Вторая часть рецензируемой книги называется “Тексты, переводы и комментарии”. Во введении дается объяснение упрощенных правил публикации текстов (отказ от дифтонгов, раскрытие титла, систематизация символов, современная система знаков препинания). В результате мы имеем не критическое издание текста в собственном смысле слова, к чему автор, естественно, и не стремилась, но издание, выполненное, безусловно, с учетом замечаний текстологической критики. Отметим, что в тексте “Анонимного сказания” и в статье “Об убиении Борисове” квадратными скобками выделены летописные вставки, интерполированные в текст “Сказания”. В целом при издании памятников, также как и во всей работе, чувствуется склонность автора к “конструированию” гипотетического текста в результате собственного видения литературной истории. Естественно, такой способ публикации памятника вызовет критику со стороны филологов.

Моя позиция такова, что всем и, прежде всего, историкам стоит извлечь максимальную выгоду из того, что нам дано настоящим изданием. Впервые за 90 лет, если не считать труднодоступного гегуэзского издания [8], главные памятники подвига и почитания свв. Бориса и Глеба сошлись под одним переплетом. В результате и специалисты, и любители получили в руки удобное издание, которое обяза-

тельно оживит приутихшую последнее время дискуссии.

В публикацию вошли “Сказание и страдание и похвала мученикам святым Борису и Глебу” и “Сказание о чудесах святых мучеников Христовых Романа и Давида”, изданные по Успенскому сборнику Синодального собрания конца XII – начала XIII в. Здесь же приведены и переводы Л.А. Дмитриева. Неоднократно изданные “Исторические паремии” публикуются с авторским переводом по дополнительной тетради “Захариинского паремийника” XIV в. из собрания РНБ. Существующие разночтения с другим паремийником того собрания восполнены в тексте и выделены курсивом (С. 347–355). “Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба” опубликовано по Сильвестровскому сборнику с учетом наблюдений В.К. Зиборова за поздними редакциями текста [15. С. 156–179] и опять же с авторским переводом. Имеющиеся разночтения приведены по тексту сборника № 645 Софийского собрания РНБ и тоже выделены курсивом. Но если курсив легко различим в публикации, то суть разночтений, как и основания, по которым публикатор предпочел одно чтение другому, уясняются с трудом.

В книге имеются три приложения, куда вошли источники “борисоглебской истории”, не ставшие предметом самостоятельного исследования. Здесь опубликованы “Чтения из пролога первой редакции” из дополнительной тетради “Захариинского паремийника” и “русский” отрывок из “Польской истории” Яна Длугоша в переводе Н.И. Щавелевой без оригинального латинского текста. Третье приложение содержит фрагмент ПВЛ “О убиении Борисове” из статьи 6523 г. по Лаврентьевскому списку с восполнением пропусков по Ипатьевской летописи.

Большой авторский труд чувствуется и в комментариях, хотя естественно, что в некоторых случаях в публикации использованы творческие открытия предшественников (С. 355) [12. С. 91]. Вместе с тем предложенные здесь определения новозаветных цитат нуждаются в существенном уточнении. Присущий средневековому автору способ цитации в соот-

ветствии с “открытой традицией” не предусматривал буквального воспроизведения. Взаимоотношение авторского и авторитетного текстов в древнерусской письменности, основанное на сложной системе коннотаций и реминисценций, еще ждет своего талантливого исследователя. Цитирование в древнерусском памятнике соответствует скорее нашей косвенной речи, тогда как предлагаемый метод передачи исторического текста предлагает нашему восприятию строгость и точность, передаваемые двоеточиями и кавычками.

Это порождает новые проблемы. Так, в идентификации и переводе “цитаты” из “гимна любви” апостола Павла в “Сказании”, взятой нами наугад (С. 294, 295), возможно указать ряд неточностей. Фраза “Любы все тьрпите, всему веру емлеть и не ищть своихъ си” при переводе “обретает” дополнение: любовь здесь наделяется долготерпением и независтливостью (“Любовь долготерпелива, всему верит, не завидует и не превозносится”). Однако этого нет в древнерусском тексте. Автор сказания говорит – “вся терпит”. Это соответствует концу 7-го стиха 13-й главы первого послания св. апостола Павла к Коринфянам, тогда как вся цитата в комментарии определена как 1 Кор. 13:4.

Несомненно, такая отсылка помогает найти соответствующий новозаветный текст. Однако логика древнего автора совершенно иная. Он сознательно перестраивает апостольскую мысль в соответствии с собственным видением развития событий: терпение как способность вынести неожиданное испытание, вера как доверие, отказ от “своего” как отвержение киевского самовластия. Апостольская реминисценция здесь построена как 1 Кор. 13 : 7 frag., 7 frag., 5 frag. Перечень подобных сложностей при идентификации библейских текстов, вкрапленных в древнерусские памятники, можно продолжить. К тому же, свобода обращения средневековых книжников со священными текстами заставляет вновь вернуться к давней проблеме. Должен ли переводчик древнерусских произведений в передаче Священного Писания ориентироваться на *textus receptus* Синодального издания или,

подражая свободе своих предшественников, полагаться на присущее ему чувство стиля и языка?

Возвращаясь к значению рецензируемого труда для наук древнерусской истории и литературы в целом, рискну предположить, что автор сознательно предпочел историческую логику изложения логике исторического исследования, чтобы обозначить нерешенные, а может быть, и не решаемые проблемы древнерусской истории и литературы XI в. Литературные памятники “борисоглебского цикла” рассматриваются в работе в большей степени как продолжение посмертной судьбы свв. князей в русской судьбе. Они оказываются свидетельством почитания братьев в эпоху своего создания, в то время как первичная функция этих текстов – быть источником религиозного знания и исторической информации о событиях 1015 г. и “дописьменной” истории почитания и прославления князей Бориса и Глеба. Эту методологическую сложность трудно преодолеть традиционными методами. В настоящем исследовании история подвига и канонизации предвзывает аналитику текста, которая единственно и способна воссоздать эти события и пересмотреть хрестоматийные историографические образы. Нельзя не признать, что подобные образы существенно влияют на итоговые выводы исследователей. В попытке преодоления этих стереотипов автор, может быть, несколько увлекся модернизацией своего видения истории. Не всегда можно судить о мотивах авторов и редакторов памятника в соответствии с современным пониманием должного и возможного. Таким же анахронизмом является и пресловутая канонизация, зачастую играющая роль методологического инструмента.

Все сказанное лишь подчеркивает значение книги для современного научного сообщества. Нам предстоит не просто осознать, что и как делать дальше, но и начать это делать со ссылкой и оглядкой на рецензируемое исследование, воспринимая или оспаривая его продуманные положения. Наверное, на вопрос о способности завершающей редакции “Анонимного сказания” теперь получен окончательный ответ. Другим важнейшим выводом

работы, который кажется неоспоримым, является положение о не политическом и не династическом характере изначально-го почитания братьев-князей, рожденного чаяниями новокрещеного народа. Идущая снизу архаика сознания, превращенная христианской образностью, дополнилась жаждой социальной справедливости. Здесь и реализуется христианская парадигма, выраженная словами св. апостола Павла: “Искушен быв, может и искушаемым помощи” (Евр. 2:18). Последняя была особенно актуальна в условиях правовой и политической нестабильности эпохи противостояния сначала Владимировичей, а потом и Ярославичей, пытавшихся обустроить “вертикаль власти” в виде корпоративного созерцания Рюриковичей над Русью. Мы должны быть благодарны автору, который не просто напомнил нам о нашем долге в понимании истории, но и попытался поднять на себя этот ко многому обязывающий труд.

© 2007 г. А.Е.Мусин

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Милютенко Н.И. Переяславское сказание о Борисе и Глебе в составе Летописца Переяславля-Суздальского // ТОДРЛ. 1993. Т. 47.
2. Милютенко Н.И. Рассказ о прозрении Ростиславиче на Смядыни // ТОДРЛ. 1993. Т. 48.
3. Поппэ А. О зарождении культа свв. Бориса и Глеба и о посвященных им произведениях // *Russia Mediaevalis*. München, 1995. Т. VIII, 1.
4. Макарий (Веретенников), архимандрит. Макарьевские соборы 1547 и 1549 годов и их значение // Русская художественная культура XV–XVI веков: Материалы исследования / ГМКК “Московский Кремль”. М., 1998. Т. 11.
5. Мусин А.Е. Соборы св. митрополита Макария 1547–1549 гг.: Факт истории или факт историографии? // Россия и проблемы европейской истории: Средневековье, Новое и новейшее время. Сборник статей в честь члена-корреспондента РАН С.М. Каштанова. Ростов, 2003.
6. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903.
7. Мусин А.Е. Соборы митрополита Макария 1547–1549 гг. и проблема авторитета в культуре XVI в. // Древнерусское искусство. Русское искусство позднего Средневековья. XVI век. СПб., 2003.
8. Revelli G. Monumenti litterari su Boris e Gleb. Литературные памятники о Борисе и Глебе. Genova, 1993.
9. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. М., 1994. Т. I.
10. Василий (Кривошеин), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Богослов: 949–1022. Париж, 1980.
11. Лосева О.В. Русские месяцесловы XI–XIV веков. М., 2001.
12. Успенский Б.А. Борис и Глеб: восприятие истории в Древней Руси. М., 2000.
13. Корзухина Г.Ф., Пескова А.А. Древнерусские энколпионы. Нагрудные кресты-реликварии XI–XIII вв. СПб., 2003.
14. Липатов А.А., Медникова Е.Ю., Мусин А.Е., Пескова А.А. Священные вложения древнерусских энколпионов в контексте литургической практики: возможности комплексного анализа // Христианская иконография Востока и Запада в памятниках материальной культуры Древней Руси и Византии. СПб., 2006.
15. Зиборов В.К. О летописи Нестора. СПб., 1995.

J. BOUBÍN. Petr Chelčický. Myslitel a reformátor. Praha, 2005. 200 s.
Я. БОУБИН. Петр Хельчицкий. Мыслитель и реформатор

В 2005 г. в издательстве “Вышеград” вышла в свет работа чешского исследователя Я. Боубина “Петр Хельчицкий. Мыслитель и реформатор”. Это уже не первый серьезный труд автора по гуситскому движению. В последние годы Я. Боубин много и плодотворно занимается исследованием и публикацией источников по гусизму [1]. Настоящая работа посвящена одному из известнейших персонажей гуситского периода – Петру Хельчицкому.

Петр Хельчицкий по праву считается одним из крупнейших мыслителей чешской истории и одновременно одним из немногих чехов, чьи труды получили распространение за рубежом. Известность среди гуситов мыслитель из небольшого селения на юге Чехии приобрел благодаря своим полемическим трактатам, в которых проявились его литературный талант и оригинальность мышления. Большинство его современников, охваченные вихрем гуситских войн, не восприняли идей “сельского мыслителя”, однако в середине XV в., когда общество устало от кровопролития и жестокости, взгляды Хельчицкого нашли приверженцев среди членов зарождавшейся Общины чешских братьев, благодаря которым труды Хельчицкого дошли до наших дней.

На протяжении долгого времени взгляды Хельчицкого привлекали внимание как последователей Общины чешских братьев, так и католиков. Однако вплоть до Ф. Палацкого (середина XIX в.), охарактеризовавшего идеи мыслителя в своем фундаментальном сочинении по истории Чехии и Моравии [2], взгляды и биография Хельчицкого систематически не изучались. При этом наиболее крупный вклад в исследования о Хельчицком внесли русские ученые – Ю.С. Анненков и Н.В. Ястребов. Фактически первым самостоятельным исследователем творчества Хельчицкого стал

Анненков, он занимался активными поисками его творческого наследия и способствовал расширению сведений о литературной деятельности Хельчицкого. Последним трудом Анненкова стала подготовка к печати одного из главных трактатов Хельчицкого “Сеть веры”. Он успел отпечатать чешский текст и написать его изложение по-русски. Публикация была поручена академику И.В. Ягичу, который дополнил ее переводом на русский язык, выполненным М. Сперанским, а также текстом еще одного сочинения Хельчицкого “Реплика против Бискупца” [3].

Высшим достижением историографии о Хельчицком являются работы русского исследователя Н.В. Ястребова, обнаружившего и проанализировавшего некоторые неизвестные ранее произведения Хельчицкого. Научное наследие Н.В. Ястребова богато, основным его трудом является книга “Этюды о Петре Хельчицком и его времени” (СПб., 1908), признанная выдающейся не только в русской, но и в чешской литературе и не утратившая научного значения до настоящего времени. Работу отличает глубокое и всестороннее знание рукописной источниковой базы, учет всей литературы, исследовательское мастерство, убедительность аргументации, обоснованность и оригинальность выводов. В целом трудами Н.В. Ястребова выяснена история литературной деятельности Хельчицкого и, в частности, решен очень важный вопрос о ее начале. Ученому удалось научно обосновать роль и место Петра Хельчицкого в истории чешской общественной мысли XV в.

В данной связи следует отметить одно обстоятельство. Вызывает удивление, и даже недоумение, насколько мало внимания Я. Боубин в своем историографическом обзоре уделяет русским исследователям Хельчицкого (см. подробнее [4]).

Чешские современники Ястребова и Анненкова высоко оценивали труды своих российских коллег, а сам Боубин во многом опирается на Ястребова. На мой же взгляд, их вклад в изучение жизни и деятельности чешского мыслителя превосходит все, что до настоящего момента было написано в чешской историографии и заслуживает большего, нежели мимоletное упоминание. Пожалуй, отсутствие историографического анализа является единственным существенным недостатком рецензируемой работы. Не специалисту крайне сложно определить, в чем заключается новизна работы Я. Боубина, в то время как ее ценность несомненна. На протяжении второй половины XX ст. исследователи уделяли основное внимание социальной стороне взглядов мыслителя. Собственно, в Чехии интерес к Петру Хельчицкому не носил постоянного характера. В XIX в. труды Хельчицкого изучались преимущественно в связи с их влиянием на Общину чешских братьев. Более серьезная работа началась уже после Второй мировой войны. Подготавливались публикации трактатов Хельчицкого, в которых мыслитель критиковал существующий общественный строй, но всплеск интереса к Хельчицкому произошел после публикации статьи гуситолога Ф.М. Бартоша, в которой он высказал предположение о тождестве Петра Хельчицкого и земана Петра Загорки [5]. Эта гипотеза встретила неоднозначную реакцию. Например, медиевист А. Мика, готовя к изданию сборник произведений Хельчицкого, во вводной статье очень романтично изложил свою версию биографии мыслителя, созданную на основе гипотезы Бартоша [6]. Напротив, Э. Петру, исследовавший и публиковавший труды Петра Хельчицкого, высказался против упомянутой идеи [7].

Краткий обзор жизни и литературной деятельности духовного отца Общины чешских братьев представил также Ф. Шмагел в своем многотомном исследовании о гуситской революции [8].

В нашей стране в последние годы Петром Хельчицким занималась Л.П. Лаптева. Ее работы касались, в первую очередь, проблемы изучения Хельчицкого в дореволюционной России [4; 9].

Казалось бы, при столь плодотворном внимании к творчеству ученого трудно высказать что-то новое, неизвестное. Однако это не отпугнуло автора рецензируемой публикации. В небольшом по объему сочинении Я. Боубин затронул практически весь спектр тем, связанный с изучением взглядов и творческого пути Хельчицкого.

Я. Боубин открывает исследование анализом немногочисленных сохранившихся биографических данных о Петре Хельчицком. Автор знакомит читателей со средой, в которой вырос мыслитель, сосредоточивает свое внимание и на личности земана Петра Загорки, с которым стремятся отождествить Хельчицкого. На основе глубокого анализа трудов Хельчицкого и его историографов, Я. Боубин доказывает, что Хельчицкий не мог родиться ни ранее, ни позднее 1380 г., а умер он не позднее середины 50-х годов XV в. Кроме биографических данных Хельчицкого, Я. Боубин корректирует даты некоторых его трудов в соответствии с точкой зрения Н.В. Ястребова. Анализируя возможные пересечения биографий Хельчицкого и Загорки, исследователь не делает окончательного вывода на основании косвенных свидетельств и оставляет тему открытой до появления прямых фактов, которые бы смогли подтвердить или опровергнуть гипотезу Ф.М. Бартоша.

Вторая и наиболее обширная часть рецензируемой книги посвящена анализу и оценке оригинальных идей Хельчицкого. Автор подробно рассматривает каждую работу автора, стараясь придерживаться хронологии их написания.

Я. Боубин много цитирует труды мыслителя, которые, с одной стороны, сосредоточены на проблематике зла, несправедливости и угнетения и являются радикальным христианским посланием любви и ненасилия, с другой стороны. Для более подробного анализа автор выбрал четыре основных темы в учении Хельчицкого: о евхаристии, о структуре общества, о взаимоотношениях человека и бога и о смертной казни.

Автор подчеркивает, что правомерность причащения хлебом и вином не только духовенства, но и мирян является

одной из фундаментальных проблем гуситского движения и встречается у большинства гуситских теологов. Но если умеренные утраквисты ограничивались введением евхаристии “под обоими” способами для взрослых мирян, то табориты пошли дальше и начали причащать также и маленьких детей, в том числе и новорожденных. Хельчицкий, идейно близкий к таборитам, это их положение считал неприемлемым. Свою позицию мыслитель раскрыл в трактатах “О теле Божьем”, “Сообщение о таинствах”. По его мнению, правильнее поступали первые христиане, которые крестились в сознательном возрасте, и их отношение к таинствам благодаря этому было более глубоким. Хельчицкий также упрекает таборитских священников в том, что они позволяют несведущим людям рассуждать о сложных теологических темах, смысла которых не понимают. Я. Боубин подчеркивает, что Хельчицкий затрагивает важную проблему истины или правды, наиболее полно сформулированную магистром пражского университета и идеологом гусизма Якоубеком из Стржибра. По мнению автора книги, эта позиция Хельчицкого удивительна еще и тем, что исходит от человека, который считается самоучкой. Фактически, в этом вопросе мыслитель идейно приближается к умеренным утраквистам, например, Лаврентию из Бржезовой.

Не менее подробно Я. Боубин характеризует труды “О тройном народе” и “О святой церкви”, которые он оценивает как переломные в творчестве Хельчицкого, в которых он изложил взгляды на современную ему структуру общества, доведенные до логического завершения в “Постилле” и “Сети веры”. Я. Боубин подчеркивает, что современники Петра, представители всех гуситских лагерей, за исключением краткого хилястического периода, придерживались традиционных взглядов на общество. Люди стремились повысить статус своего сословия или же изменить его, однако сам факт существующего разделения никто не подвергал сомнению. Хельчицкий же выводит человека из социальной группы, считая, что самое главное для него – быть хорошим христианином и свободной личностью,

ибо в противном случае бремя земных благ помешает человеку обрести спасение.

По мнению Я. Боубина, Хельчицкий приходит к критике существующего общественного порядка благодаря убеждению, что только Бог является единственным судьей, способным читать в сердцах людей и определять, искренна ли вера у человека. Таким образом, церковь как институт, призванный заботиться о спасении души, теряла свою актуальность. Анализируя современную ему социальную структуру, Хельчицкий обращал внимание на то, что в раннем христианстве не существовало неравенства, его придумали позднее теологи, а, следовательно, сословное разделение общества не санкционировано Богом. При этом Хельчицкий не считал, что следует немедленно отказаться от неравенства в обществе, но настаивал на десакрализации власти. Эксплуатацию знатью простых людей на основе Нового Завета мыслитель считал абсурдной, основанной на неверном толковании Священного Писания. Мне представляется важным подчеркнуть, что Я. Боубин не считает Хельчицкого, выступающего за равноправие, революционером, так как его позиция основана на уверенности, что христианство не может проповедовать неравенство.

По мнению Я. Боубина, такой нестандартный взгляд Хельчицкого вызван принципиально иным подходом, нежели у традиционных средневековых мыслителей и основан на конкретном восприятии Нового Завета. Там, где ученые мужи видели гармонично развивающееся общество и церковь, трактуемую как духовное тело Христова, Хельчицкий видел лишь грубое нарушение заветов Христа. Современную ему церковную структуру он отождествлял с Антихристом, который приведет “заблудших овец” к гибели. Автор справедливо отмечает, что в этом вопросе мыслитель выглядит намного радикальнее таборитов.

В отдельный раздел Я. Боубин выносит анализ темы Бога и человека у Хельчицкого, а также вопрос о смертной казни. Такое решение закономерно, так как размышления о Боге вообще занимают

серьезное место в трудах Хельчицкого и это связано с явным противоречием положения о добром всеведущем Боге и тяготах земной жизни, особенно в условиях церковного кризиса и религиозных войн. Я. Боубин подчеркивает, что Бог у Хельчицкого вознесен на недостижимую высоту и человеку требуется всей жизнью доказать, что он достоин встречи с Богом. Заменить Бога не может ни один смертный. По мнению Хельчицкого, взаимоотношения человека и Бога основаны на договоре, который был заключен при посредничестве Христа. И именно Христос установил основные законы, которые людям следует соблюдать. Те же, кто их нарушит, должны быть сурово наказаны. Таким образом, Хельчицкий, по мнению Я. Боубина, наделяет Бога правом быть строгим, даже суровым по отношению к тем, кто нарушает установленный порядок. В трудах мыслителя существованию зла на земле уделяется очень много внимания. Вместе с тем, насилие и сопротивление своим земным господам Хельчицкий расценивает как недопустимое, ибо путь к Богу через страдание еще более ценен. Хельчицкий напоминал, что Бог даже прислал в мир своего сына, дабы тот мучительной смертью искупил грехи людей и своим личным примером указал правильный путь к спасению. Готовность пострадать за веру Хельчицкий считал высшим проявлением любви к Богу со стороны человека. Люди должны со смирением принять свою судьбу, ибо ропот приводит к отрицанию Бога и подменой истинной веры служением Антихристу, как, по мнению Хельчицкого, и произошло с официальной церковью. Автор подчеркивает, что, несмотря на такие взгляды, учение мыслителя лишено мистичности. Его главной целью является практическая реализация закона Божьего. Фактически в этих трудах Хельчицкий обосновывает идею непротivления злу насилием в толстовском понимании, доведенную до совершенства в Индии.

Завершает книгу Я. Боубина специальный экскурс о происхождении и эволюции смертной казни за убийство и воровство в разные эпохи и у разных народов, в том числе и у гуситов. На самом деле это самостоятельная работа, выхо-

дящая за рамки книги. Однако ее присутствие обоснованно, так как автор именно на этой – сегодня очень актуальной – проблеме демонстрирует идейную связь труда Хельчицкого с прошлым и настоящим. Подчеркивается, что в гуситских областях смертная казнь за воровство была отменена, ибо никакая вещь по своей ценности не соразмерна с человеческой жизнью, тем более что в Ветхом Завете воровство не каралось столь сурово. Хельчицкий же вообще отвергал наказание смертью, так как, по его мнению, не существует настолько безгрешного человека, который был бы в праве осудить на смерть другого человека. Данное убеждение Хельчицкого основано на описанном в Новом Завете эпизоде с грешницей, спасенной Христом.

Последние два раздела исследования Я. Боубина подводят читателя к мысли, что, благодаря своему последовательному отрицанию общественного неравенства, светской и духовной власти, насилия, страха смерти, Петра Хельчицкого можно отнести к предшественникам многих современных мыслителей. Особенно Я. Боубин обращает внимание читателей на связь радикальных социальных взглядов Хельчицкого с идеями не только Общины чешских братьев, но и последующих представителей Реформации, и даже Льва Толстого, Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга. Интересно также мнение Я. Боубина, что Хельчицкого, выступавшего против смертной казни за воровство, можно отнести к лидерам европейского христианского гуманизма.

В заключение хочется подчеркнуть следующее: попытка провести параллель между взглядами Хельчицкого и его “единомышленников” из прошлого (линия Платон–Св. Августин) и будущего выглядит логично и обоснованно, однако, на мой взгляд, исторический и культурный контекст деятельности известных пацифистов существенно отличается и к сравнениям такого рода нужно подходить очень аккуратно. Но такие мелкие оговорки, тем не менее, не меняют позитивного значения книги Я. Боубина. Автор в своей книге восстанавливает комплексную картину взглядов Хельчицкого, открывая новые возможности для исследо-

вателей. Следует надеяться, что настоящая работа будет дополнена полной публикацией сохранившихся трудов Петра Хельчицкого.

© 2007 г. Л.М. Гаркуша

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Boubín J. Dílo Petra Chelčického a současný stav jeho edičního zpřístupnění // Český časopis historický. 2004. № 102; Boubín J. Na okraj arcibiskupského sborníku prací Petra Chelčického // Husitství–reformace–renaissance II. Praha, 1994; Boubín J. Petr Chelčický a jeho dílo v české a zahraniční historiografii let 1978–1994 // Husitský Tabor. 1999. № 12; Boubín J. Počátek literární činnosti Petra Chelčického // Husitský Tabor. 1982. № 5; Boubín J. Traktát Petra Chelčického o trestu smrti // Mediaevalia historica Bohemica. 1995. № 4; Jan z Příbramě. Život kněží tábořských. Příbram, 2000.
2. Palacký F. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Praha, 1939. D. IV.
3. Сочинение Петра Хельчицкого. Спб., 1893. I. Сеть веры. II. Реплика против Бискупца.
4. Лантева Л.П. Чешский мыслитель XV века Петр Хельчицкий в русской историографии. Петр Хельчицкий и Лев Толстой // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 1996. № 3.
5. Bartoš F.M. Kdo byl Petr Chelčický // Jihočeský Sborník Historický. 1946. № 15.
6. Chelčický P. Spisy. Praha, 1963.
7. Chelčický P. Drobné spisy. Praha, 1966; Chelčický P. Ze sítě víry. Praha, 1990; Petrů E. Vzdálené hlasy. Studie o starší české literatuře. Olomouc, 1966; Petrů E. Znovu k problému Chelčický–Zahorka // Listy Filologické. 1979. № 102. Petrů E. Soupis díla Petra Chelčického a literatury o něm. Praha, 1957.
8. Šmahel Fr. Husitská revoluce. Praha, 1995. D. IV.
9. Лантева Л.П. Петр Хельчицкий в освещении русской дореволюционной историографии // Folia Historica Bohemica. 1985. № 9.

Славяноведение, № 5

Е. П. СЕРАПИОНОВА. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы. М., 2006. 510 с.

В заглавие я бы добавил подзаголовок: “О певцах неославизма, о Надежде, о Польше”. Если первое предложение не требует пояснений, то второе связано не только с именем жены Крамаржа, но и с “любовью” и “верой” в славянство, в Россию, к русским, а третье – с “Привисленским краем” – этим “третьим лишним” в неославизме, давно “портившем” общую картину “необщего” славянского мира.

Именно этот мир с его националистами/национальными деятелями, прагматиками и романтиками, изменниками и идеалистами, мир, в котором разрушение шло с созиданием, а поиск нового зачастую ограничивался лозунгами, мир с его “мирными и немирными” реформами и революциями, мир русский и славянский

вошел на страницы книги Елены Павловны Серапионовой через ее героя Карела Крамаржа, ярчайшего деятеля славянства, автора труда “Русский кризис” о русском времени с его революциями.

Конечно, в моих словах есть некая красивость, но ложь, преувеличения нет. Чтение книги доставляет истинное удовольствие по нескольким причинам. У автора отличная манера письма, многоцветье сюжетов. Книга позволяет увидеть политику славянского “сообщества”, отличающегося подозрительностью. В исследовании освещены славянские “слово” и “дело”, которые переплетаются с жесткой их критикой, мягко переходящей в критиканство. У Е.П. Серапионовой хорошо вырисованы картины политико-об-

щественной жизни или наоборот, или даже по частям (политика отдельно, общество особо), замешанные на чувствах, политических страстях и пристрастиях, на холодном расчете, национализме. Стиль автора, тон сюжетных линий, судьбы героя позволяют проникнуться симпатией к “русочеху” или “чехорусу” Крамаржу, пережить вместе с автором все перипетии борьбы на славянском поле вокруг славянства/славизма. На том поле, где Россия представлялась исторически самым мощным фактором в деле объединения, но осторожной в сфере практики, когда гимн “славянской идее” становится неслышен после октября 1917 г.

Это – общая характеристика. Теперь подробнее. По моему мнению; любое научное исследование вдвойне ценно, когда из него извлекаешь так называемую спутниковую информацию, полезность которой может помочь в разрешении собственных научных проблем. В любом случае она всегда полезна ищущему знания. И те же сюжеты о московском купечестве, о владельцах кондитерской фабрики, известной сейчас как имени Бабаева, позволяют не только взглянуть в разноцветный мир столицы провинциальной России, но и в мир спутницы жизни Крамаржа – Надежды, делившей с супругом его славянские интересы.

И еще несколько примеров. Первый – о публицистике М.О. Меньшикова, расстрелянного большевиками. Его взгляды на проблему славянства, во многом совпадающие с теми, которые высказывал Ф.М. Достоевский, даже идущего дальше по резкости своих высказываний о разности дорог славянства и России, позволяют не только придать больше красок в портрет Крамаржа, которого он считал австрофилом, что было явным упрощением, но прежде всего в саму картину настоящего и будущего славянства. Второй – о сокольском движении, зародившемся в Чехии и распространившемся довольно быстро по славянским землям. От себя скажу, что начавшийся было процесс объединения всех югославянских соколов был прерван убийством престолонаследника Франца-Фердинанда в Сараеве. Гаврила Принцип, произведший роковой выстрел, входивший в революционную орга-

низацию, был еще и “соколом”. В порыве “справедливого гнева”, “соколье” в Австро-Венгрии было обвинено в государственной измене, многие “соколы” были арестованы. Третий – о русском храме св. Николая в Праге, истории его постройки.

Мимходом замечу, что история южных и западных славян столь различна, что говорить о 40-х годах позапрошлого столетия как времени их национального возрождения представляется дискуссионным. Одна история у чехов “немецкой выделки”, другая – у всегда “вольных стрелков” черногорцев. Далее. Я не очень понимаю, почему панславизм – это у большинства историков всегда “плохо”?! В истории путаница, причем конъюнктурная: когда надо представить пре-краснодушную картину, то говорят о славянской взаимности, а в обратном случае – о русском панславизме. Конечно, есть и достаточно четкие рисунки этих феноменов, тесно связанных между собой авторами трудов и русской политикой. Но вопрос, почему панславизм всегда “плохо”, остается для меня даже при польском факторе открытым.

При чтении книги обращает внимание такой парадоксальный внешне, но вполне логичный тезис о том, что на практике вопросы славянской взаимности в той же македонской проблеме пытались решать столицы мировых славянских империй – Петербург и Вена.

И здесь конечно очень интересно представлены автором мысли Крамаржа о неославизме, который видел политическое содержание этого нового феномена в сближении Австрии с Россией и создании бастиона от пангерманизма! Богатство мыслей наших далеких мечтателей и критиков неославизма позволили автору книги о Крамарже дать широкую и живую картину идей, проектов по неославизму, его pro et contra от культурного наполнения до превосходства политического. Красоту книге придает именно эта пестрота высказываний, постулатов, аксиом, проверенных практикой славянской жизни, и гипотез, утверждений, основанных на феноменах, имеющих в основе отвлеченный характер – самый живой пример – вера того же Крамаржа в

Россию как объединителя славянского мира, который сейчас бежит от “цезаристской” Москвы.

О герое всегда писать легко: пришел, увидел, победил. А был ли героем Карел Крамарж? Незаурядным – да, талантливым – да, последовательным – да, известным всему славянскому миру – да. Четыре да и одно нет: он не стал победителем. Помешала вера в Россию. А портрет не героя всегда писать сложнее, приходится объяснять, оправдывать, критиковать. Все это присутствует в книге Е. Серапионовой, умеющей представить и своего героя и его современников, таких как Т.Г. Масарик и П.Н. Милоков, без характеристики взглядов которого исследование было бы неполным.

В сущности, чтение книги может привести к мысли о том, что нас “испортил славянский вопрос”. А “порча” просматривается явственно: здесь и “певческие” съезды в Праге, Софии, где много пели, еще больше говорили, но слово никак не хотело становиться делом, тут и просчеты русских политиков, точнее, самой политики, и, конечно, гордые поляки, накопившие много “колючек под языком” в адрес своей “завоевательницы” и ее “сыновей”, призывавших к “взаимности”!

Именно национализм, прежде всего польский, кредо которого так блестяще видно в фразе одного из героев: “У нас (поляков. – В.К.) славянин начинается там, где кончается поляк” – позволяет если не понять, то представить все сложности “хождения по славянским мукам” творца неославизма Крамаржа, когда он обвинялся немцами в государственной измене, когда неославизм воспринимался русскими правящими кругами как возможное средство для достижения своих интересов, когда для чехов и других австрийских славян “всякое проявление славянской солидарности” имело значение только тогда, когда “оно носило общеславянский характер, исключаяющий преобладающее значение русского народа”.

При всем этом, как пишет автор, “наименее знакома со славянством, его культурным уровнем и политическим положением была Россия”. Я согласен с этим мнением, нередко звучавшим в русской публицистике, из уст российских дипло-

матических представителей. Но о какой России шла речь? Российское крестьянство не было знакомо с культурой чешского или хорватского агрария. Поэтому такое большое значение придавалось созданию собственной информационной сети. Но и здесь слово не закончилось делом. Тем не менее были и успехи, правда весьма скромные: выставки, экскурсии, и прочие “мелочи”, несопоставимые с грандиозностью замыслов. Мешала как всегда “органическая” политика и та же самая увлекательная громадность преобразований, не соответствовавшая влиянию сторонников неославизма в своих странах.

Чтение монографии приводит к мысли о том, что “славянский интернационал” в отличие от других “интернационалов” был обречен на существование в мифе по ряду причин, главная из которых заключалась в самой России, интересы которой требовали не соединения с западным славянством, развивающимся в рамках иной культуры, а сохранения себя от размывания в море все еще “аморфного” славянства.

Крамарж, пишет автор, все же верил, как и некоторые его современники и предшественники, в славянский союз, разработав известный проект создания “Славянской империи” под эгидой России. Этот фантастический план показывает твердость и цельность веры Крамаржа в объединительную мощь России, единенного славянства. И одновременно представляет его мечтателем, который находится в плену своих заблуждений о “прекрасном славянском мире”. Война разрушила его мечты. Но даже если принять желаемое за действительное, то “Славянскую империю” ожидало бесславное будущее уже по причине национально-территориальных конфликтов.

А пока, даже Первая мировая война не остановила мыслей Крамаржа о желательности, даже необходимости единения Чехии с Россией, создания “вице-королевства под скипетром российского императора”. Рассматриваемые в книге сюжеты о будущем чешско-словацкого королевства, анализируемые автором взгляды Крамаржа и Масарика на судьбу страны, их действия, информация по аресту и заключению Крамаржа в тюрьму за

нелояльность к властям, - все это позволяет всмотреться в “биографию” будущей “небольшой славянской общности” Чехословакии, ее лидеров, прежде всего Крамаржу, испытывавшего 3 июня 1916 г. ужас смертного приговора, в котором были такие строки: “Признать виновным... как руководителя панславистской пропаганды и чешского русофильского движения, объявляющего и распространяющего принципы всеславянской взаимности, поддерживающего контакты с неприятельской стороной и сознательно сотрудничающего с созданными там организациями с целью раскола единого государственного союза и отторжения коронных земель Чехии, Моравии и Силезии, также как и Словакии и других земель австро-венгерской монархии, населенных славянами, как зачинщика, подстрекателя и организатора того, что вело бы к отторжению одной части от единого государственного союза и областей земель ав-

стрийской империи...” И только, как подчеркивает автор, хитроумное заступничество Петербурга спасло жизнь русофилу К.П. Крамаржу. Уже все это позволяет Крамаржу войти в историю славянства.

И пожалуй, последнее: Россия постоянно “дарит свои уроки” другим. О России, ее революциях, кризисах написано и пишется много. Написал и Крамарж труд “Русский кризис”. Многие его мысли и сейчас современны, а тогда нужно его благодарить хотя бы за то, что процитированное Е.П. Серапионовой введение, датированное апрелем 1921 г., он заканчивал словами, что он никогда не переставал надеяться и твердо верить в русский народ – в его “великую и прекрасную будущность даже в тягчайшие минуты, когда отчаяние овладевало всеми”.

© 2007 г. *В.И. Косик*



ПРАЖСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЫХ СЛАВИСТОВ

В пражском Карловом университете, старейшем гуманитарном центре Центральной Европы, 11–12 октября 2006 г. состоялась конференция молодых славистов, организованная кафедрой славистики и восточноевропейских исследований философского факультета. Тематика конференции затрагивала практически все области гуманитарного знания: филологию, историю, социологию, философию, культурологию.

В секциях по сопоставительной лингвистике, славянским литературам, славистике в современном мире, политической и философской мысли славянского мира было прочитано более 50 докладов. Актуальные проблемы сегодняшней славистики обсуждали молодые ученые как из славянских (Чехия, Польша, Хорватия, Белоруссия, Украина, Россия, Словения), так и из неславянских (Германия, Швейцария) стран.

Открытие конференции проходило в “Славянском семинаре” – библиотеке славистики философского факультета. Краткое вступительное слово произнес заведующий кафедрой славистики и восточноевропейских исследований доц. *Р. Хмел*, после чего главный организатор форума, докторант философского факультета *Г. Ванькова*, поблагодарив руководство кафедры и факультета, ознакомил присутствующих с планируемым ходом работы конференции.

После торжественной церемонии открытия начали работу две секции – “Языковые контакты – история и настоящее”

и “Славянские литературы в европейском контексте”.

В секции языковых контактов (рук. – *А. Недолужко*, *Н. Калайджиева*, *Г. Ванькова*) обсуждался достаточно широкий круг проблем, который, можно сказать, вышел за рамки, предложенные организаторами. В основе большинства докладов лежало сравнение/сопоставление языков в том или ином виде, и, как кажется, более удачным названием для секции было бы: “Сопоставительное (славянское) языкознание”.

Итак, работа этой секции открылась докладом *Г. Рак* (Минск) “Эпистемическая модальность в белорусском и чешском языках”. На материале научных текстов было проанализировано функционирование в близкородственных языках модальности истинности (правдивости), рассматриваемой в качестве комплекса функционально-сематических полей (ФСП категорической достоверности, проблематичной достоверности, возможности). Доклад “Об одном типе безличных конструкций в чешском языке на фоне других славянских языков (предложения с так называемым обобщенным производителем действия)” сделал *Д. Поляков* (Москва), рассмотревший особенности структуры и функционирования чешских безличных возвратных конструкций типа *jede se k babicce* и сопоставивший их с коммуникативно эквивалентными русскими конструкциями. Докладчик показал, что результаты проведенного функционального исследования могут быть использованы и при исследовании типо-

логическом. Синхронная проблематика уступила место диахронической в докладе *Ю. Кириллова* (Москва) “О состоянии чешского литературного языка до национального возрождения в сравнении с серболужицкой ситуацией”. Анализируя ряд чешских текстов того времени, докладчик констатировал, что путь, по которому шло развитие серболужицкого языка, очевидно, оказался неприемлемым для чешского, с миноритарным положением которого старались возможно скорее покончить деятели национального возрождения. Доклад *Л. Михалковой* (Прага – Оломоуц) был посвящен наименованиям чешских продуктов питания, ввозимых в Россию. Докладчица рассмотрела факторы, влияющие на выбор названия экспортного товара, и охарактеризовала основные приемы трансформации исконных названий. *Я. Грегор* (Оломоуц) в докладе “Конверсивные отношения в области русских устойчивых глагольно-именных сочетаний в сравнении с чешским языком” выстроил типологию конверсивных отношений вербо-номинальных конструкций и соответствующих глаголов, рассмотрев затем случаи асимметрии между чешским и русским языками (чешский глагол vs. русское глагольно-именное сочетание и наоборот). В докладе *М. Гришмановой* (Прага) “Жанр русского делового письма в сравнительно-историческом аспекте” рассматривались проблемы источников русского делового письма, классификации, структуры и жанрообразующих признаков делового письма, периодизация истории русских деловых писем. *О. Сорока* (Львов) в докладе “Закономерности и особенности освоения заимствований в болгарском и украинском языках” исследовала степень освоенности англицизмов данными языками на графическом, грамматическом и словообразовательном уровнях. *Д. Златанова* (Дрезден) проследила историю языковых контактов болгарского языка с греческим, турецким, русским и западноевропейскими (французским, немецким и английским) языками. С докладом “Мотивации формулировки вежливых просьб в сербском и немецком языках” выступила *К. Шлунд* (Мангейм – Белград). Горячую полемику

вызвала поставленная докладчицей проблема зависимости функционирования речевого этикета от общественно-политического устройства государства. *К. Земан* (Ольденбург) рассказал о коннотациях некоторых заимствований из немецкого в польском языке. По словарям (с XVI в. по наше время) было выявлено семантическое развитие некоторых синонимичных групп слов, включающих в себя немецкие и собственно польские слова. *А. Шамонилова* (Прага) выступила с сообщением “Сопоставительный взгляд на словенскую и чешскую грамматику на примере глагольного управления”. Доклад имел дидактическую направленность – в нем был поставлен вопрос, как уменьшить негативное влияние интерференции при обучении близкородственному языку. *К. Льюис* (Загреб) в докладе “Два аспекта неопределенности понятия *ложные друзья переводчика*” указал на большое количество определений этого лингвистического феномена и, главное, на различное содержание понятия применительно к разным языковым уровням (морфологическому, лексическому и т.д.). Заключительным в секции языковых контактов стал доклад *Г. Ирасковой* (Прага) “Сравнение возвратности чешских и хорватских глаголов”, в котором были представлены четыре группы глаголов в хорватском и чешском языках как база потенциальной интерференции.

В секции “Россия – миф и реальность” (рук. – Г. Ныкл) были собраны доклады по культурологии, истории и философии, затрагивающие проблемы, связанные с российской (или советской) историей. Большинство докладов так или иначе касалось проблемы мифа, что, видимо, и послужило основанием для подобного названия секции.

Открывал секцию доклад *М. Пришгоды* (Прага) “Славянские братья и восточный великан – место русских и России в программах и целях хорватского иллирийского движения 30–40-х годов XIX в.”. Автор обрисовал проблему двойственной трактовки России и русского народа деятелями иллиризма: принятие России как большого “славянского брата” и великой державы, но непринятие ориентации на Россию в качестве политического

курса. Особый интерес аудитории вызвал доклад *Т. Цюверинка* (Бонн) “Политическая мифология Второй мировой войны в Российской Федерации”. Докладчик поднял вопрос о создании из победы СССР над фашистской Германией политического мифа и о его дальнейшей намеренной гиперболизации с целью получения поддержки населения. Затем автор предложил классификацию форм политической мифологизации: повествовательно-пространственная (исторические книги, военные песни и т.п.), иконически сжатая (государственная символика, языковые стереотипы и др.) и ритуально-сценическая (военные парады, чествования ветеранов и пр.). Неоднозначная реакция слушателей на доклад выразилась в бурной дискуссии. *Ж. Челич* (Загреб) в докладе “Россия и русский язык в мире хорватов” рассмотрела отдельные периоды истории России и СССР через призму хорватского восприятия, находящегося под воздействием русского языка (изучение которого в социалистической Югославии было обязательным, а в настоящее время связано с потребностями туризма). Более узкая национальная проблематика была затронута в докладе *К. Зубкова* (Санкт-Петербург) “История России в романах Писемского 1850–1860-х годов: Борьба с мифом”, закрывал секцию доклад *В. Штранц-Никитиной* (Прага) “Апокалиптический миф Светланы Алексиевич”.

Не менее насыщенной и интересной была литературоведческая секция (рук. – М. Пршигода).

Заседание открывал доклад *Э. Синиор* (Люблин) «“Взлет” голосом в дискуссии об экзистенциализме», затем прозвучало сообщение *Й. Пиотровской* (Варшава) “Европа и европейцы в ранних (1847–1856) дневниках Л.Н. Толстого”. Докладчица рассмотрела “европейскую проблематику” (в различных ее составляющих), зафиксированную ранними дневниками, и попыталась определить ее значение для становления Толстого как художника и мыслителя. По мнению автора, последовательное изучение Толстым европейской истории, философии, литературы позволяет обнаружить истоки самобытной историко-философской концепции писателя. Европейский кон-

текст затронул и доклад *Б. Дичева* (Прага) “Европа – игры идентификации и различия с точки зрения художественного комизма славянских литератур”, в котором было высказано предположение, что в произведениях *И. Вазова*, *А. Константинова*, *Я. Гашека*, *И. Ильфа* и *Е. Петрова* приемы художественной комической организации представляют Европу в новом контексте, а соответственно, и в новой форме – в до сих пор незнакомых очертаниях. *Т. Дворжанкова* (Оломоуц) в докладе “Леонид Андреев в контексте немецкого экспрессионизма, экспрессионизм в творчестве Леонида Андреева” сосредоточилась на вопросе, можно ли творчество Андреева считать близким к экспрессионизму, перешагнув тем самым границы преобладающего в литературоведении мнения, что экспрессионизм является исключительно немецким направлением. Проблематику русской литературы затронула также *К. Вольна* (Прага), выступившая с докладом “Быть или не быть Гамлетом: Трансформация гамлетовского мифа в России”. Затем прозвучал доклад *Г. Мжоурковой* (Прага) “Поэзия Данае Зайца и философия экзистенции”. На основе анализа стихотворения “Комок пепла” докладчица выделила основные экзистенциальные идеи в творчестве словесного поэта. Приняла эстафету *М. Ежаковская* (Познань) с докладом «“Блаженство мужчин – страдания женщин” – чары сербского патриархата на примере народной поэзии». В результате анализа народной южнославянской поэзии Ежаковская сочла присутствующий в ней мотив страдания женщины реликтом традиционных принципов организации общественной жизни. Первопричиной страдания женщины докладчица считает мужчину как фундамент патриархальной структуры. Завершил работу секции доклад *В. Форковой* (Прага) «Карел Крейчи и методология литературы, или “Почему я не стал пражским структуралистом”».

В секции “Славистика в современном мире” *С. Цекова* (Любляна) поделилась опытом письменного и устного перевода с южнославянских языков, а *К. Ирасек* (Прага) рассказал о преимуществах использования языковых корпусов при

сравнительном изучении хорватского и чешского языков.

Второй день конференции открывала секция “Политическая и философская мысль славянского мира” (рук. – М. Пршигода), объединившая доклады молодых историков, философов и политологов из Польши, Чехии и Хорватии.

Первой выступила *М. Сек* (Люблин) с докладом “Неомессианский облик славянской революционной мысли начала XX в. – Анна Загорская”. Творчество польской представительницы московской поэтической школы А. Загорской докладчица отнесла к так называемому неомессианству (одному из подвидов польского модернизма). Продолжили работу секции *Л. Кнежоуркова* (Прага) и *И. Перушко* (Загреб) с докладами «“Поляк – католик, чех – гусит?”, или чешские и польские политические мифы» и “Когда мертвые воскресают: О том, как Тито и Сталин спасли литературу и кино”. Российскую тему затронул *Г. Ныкл* (Прага), предложивший в своем докладе “Николай Бердяев – философская автобиография или автобиографичная философия?” новую трактовку философских работ Бердяева, называя их философскими эссе, афоризмами или философскими дневниками, так как они не полностью соответствуют общепринятым для философского трактата требованиям. Внимание аудитории привлек и доклад *И. Баковича* (Загреб) “Ностальгия и идентичность: постюгославское состояние”. Изучив понятия “ностальгии” и “югоностальгии” с политической, философской, литературной и медицинской точек зрения, автор пришел к выводу, что ностальгия в Хорватии (равно как и в других государствах бывшей Югославии) постепенно приобретает признаки китча и становится достоянием туризма. *Л. Молварец* (Загреб) продолжила хорватскую тему докладом “Модели путешествия в хорватской литературе – видение себя и другого”. На примере рассказа М. Крлежи “Кедорлаомер Великий” и романа Д. Угрешич “Музей безоговорочной капитуляции” докладчица попыталась рассмотреть путешествие как особую экзистенциальную ситуацию. Предметом сообщения *З. Ержабковой* (Прага) “Модернистские и постмодер-

нистские вариации кризиса личности у Чавдара Мутафова и Тимена Тимева” стало сравнение философских взглядов на проблематику кризиса человеческой личности в творчестве двух болгарских авторов: экспрессиониста Ч. Мутафова и современного литератора и психолога Т. Тимева. Завершал работу секции доклад *К. Соколовой* (Прага) “Политика рагузан – удачная модель независимого южнославянского государства”. Докладчица попыталась ознакомить аудиторию с историей, политикой и культурой государства Дубровник. Был сделан вывод, что Дубровник как очаг человеческой культуры и фантазии наложил отпечаток и на развитие всей современной хорватской культуры.

В тот же день также состоялись доклады в секции “Языки и литературы национальных меньшинств”.

В рамках западнославянской подсекции (рук. – А. Недолужко) первым прозвучал доклад *Л. Шольце-Шолциц* (Конштанц) “Верхнелужицкая разговорная речь как самостоятельный идиом – описание на основе лексических заимствований”. Данный идиом был впервые рассмотрен как самостоятельная языковая система, используемая населением католических районов Верхней Лужицы. *З. Валента* (Прага) проанализировал роль образа Крабата в прозе Юрия Брезана. *В. Кнолл* (Прага) в докладе “Кашубская письменность с точки зрения диалектологии” выделил три диалектных массива кашубского языка (с рассмотрением характерных черт каждого из них) и соответствующие литературные традиции: севернокашубскую, заборскую и среднекашубскую. В докладе *К. Куйо* (Прага) была дана сравнительная характеристика центральных газет Польши (*Gazeta Wyborcza*) и Верхней Лужицы (*Serbske Nowiny*). *Р. Черна-Вилли* (Берн) выступила с докладом “Начальное образование в мультILINGВАЛЬНЫХ контекстах XVIII века: пример Гешинского региона”, в котором рассматривалось двуязычное немецко-польское обучение в лютеранской школе города Чешский Тешин. По утверждению докладчицы, именно оно смогло создать условия для дальнейшего укреп-

ления позиций польского языка в данном регионе.

Восточно- и южнославянская подсекция (рук. – Г. Ванькова) открылась докладом *С.Л. Удиер* (Загреб) о языковой идентичности сербских писателей из Хорватии. Рассмотрев особенности языка сербских писателей из Хорватии, докладчица разделила их на три группы: принадлежащие сербской литературе, в одинаковой степени принадлежащие как сербской, так и хорватской литературам, и писатели, функционирующие в рамках хорватской литературы. *У. Холод* (Оломоуц) рассказала о языке и культуре лемков в современном мире. После краткого исторического экскурса и освещения особенностей лемковского языка на различных уровнях докладчица познакомила присутствующих с газетами, журналами и книгами, издающимися сейчас на лемковском языке. *М. Шарлай* (Дрезден) выступила с докладом “И вновь на распутье: О тенденциях развития, функциях и статусе белорусского языка в начале XXI века”. Основной тезис докладчицы достаточно смел – возможное движение белорусско-

го языка в сторону микроязыка в силу многих как внутриязыковых, так и экстралингвистических факторов. *В. Владимирова* (Прага) рассказала об истории возникновения и о современном состоянии болгарской диаспоры в Чехии.

В рамках словенистической секции прозвучало три доклада. *В. Туцович* (Любляна) выступила с сообщением “Словенская писательница Зофка Кведер, ее дочь Владоша Еловшек и Прага: анализ корреспонденции”. Переписка З. Кведер с дочерью представляет собой, по сути, анализ словенско-хорватско-чешских литературных и культурных отношений после Первой мировой войны. *Д. Вихер* (Нова Горица) рассказала о многоязычии в истории итальянского города Гориция, в котором проживает словенское население; затем *С. Должан* (Любляна) сопоставила язык оригиналов и переводов статей боснийского журналиста А. Телибечировича.

По материалам конференции планируется опубликовать сборник.

© 2007 г. Ю.В. Кириллов, Д.К. Поляков



К ЮБИЛЕЮ ИННЕСЫ ИЛЬИНИЧНЫ СВИРИДЫ

25 июня 2007 года – знаменательная дата в жизни одного из крупнейших историков культуры, а также признанного специалиста в области польской культуры и искусства и русско-польских культурных отношений, ведущего научного сотрудника Института славяноведения РАН, д-ра ист. наук Иннесы Ильиничны Свириды.

Научная жизнь Иннесы Ильиничны неразрывно связана с Институтом. Здесь она училась в аспирантуре под руководством И.Ф. Бэлзы, здесь в 1964 г. начала работать в группе истории культуры, из которой впоследствии вырос нынешний Отдел истории культуры. Здесь в 1966 г. она защитила диссертацию на степень канд. искусствоведения, а в 1984 г. стала д-ром ист. наук.

Историк культуры, искусствовед, полонист, Иннеса Ильинична на сегодняшний день является автором свыше 200 работ, опубликованных в России, Польше, Венгрии, Англии, Франции, Литве, в том числе трех монографий, рецензировавшихся в России, Польше, Литве. В них она успешно сочетает исследование культуры в историческом разрезе с постановкой и изучением теоретических вопросов культуры.

Уже в первой книге И.И. Свириды “Польская художественная жизнь конца XVIII – первой трети XIX века” (М., 1978) историко-культурные проблемы трактуются шире, чем в традиционном искусствоведческом исследовании. Эта монография посвящена сложному комплексу взаимоотношений искусства и общества. Прекрасное знание польского изобразительного искусства и историко-культурной эпохи позволило автору поднять в книге многообразные проблемы, связанные с “трансляцией” искусства обществу, “инфраструктурой” художественного творчества. Ее интересуют пути получения художественного образования и особенности профессиональной карьеры художников, соотношение профессионального и любительского творчества, развитие коллекционирования и художественного рынка, роль в художественной жизни выставок и частных салонов. Первая книга как бы намечает основную сферу научных интересов И.И. Свириды, включающую в себя не только предмет – всесторонне изученную ею польскую художественную культуру XVIII–XIX вв., но и круг проблем, связанных со взаимоотношениями художника с заказчиками и адресатами их творчества, кругообращением произведений искусства и эстетических концепций. К этим проблемам И.И. Свирида будет обращаться неоднократно в последующих своих работах.

В 1970–1980-е годы Иннеса Ильинична активно участвует в исследовании исторического, стадийного развития культуры стран Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху национального возрождения. В трудах, подготовленных сектором историко-культурных проблем в это время, она выступает автором статей и разделов как по истории польской культуры, так и по проблемам типологии развития изучаемого региона в целом. Под ее редакцией выходят, в частности, труды: “Концепции национальной художественной культуры народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX веков” (М., 1985), “Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы в эпоху Просвещения” (М., 1988), “О Просвещении и романтизме. Советские и польские исследования” (М., 1989), “Культура народов Центральной и Юго-Восточной Европы XVIII–XIX веков. Типология и взаимодействие” (М., 1990).

Особый интерес исследователя к польской культуре эпохи Просвещения нашел отражение в ее второй монографии “Сады века философов в Польше” (М., 1994). В ней предпринята “своего рода реконструкция духовного мира польских парков” (С. 3). На страницах этой кни-

ги садово-парковое искусство XVIII в. предстает как отражение философии эпохи, а культивируемый польскими аристократами парк – как часть картины мира, воплощение множества историко-культурных смыслов. По значимости это исследование, как и другие ее работы, хотя и выполненное на польском материале, выходит за рамки истории польской культуры, ибо позволяет по-новому взглянуть на целый пласт европейской культуры эпохи Просвещения сквозь призму универсальных категорий.

В продолжение этой темы И.И. Свирида организовала конференцию и выступила редактором сборника “Натура и культура” (М., 1997), объединив интересы сотрудников Отдела, а также специалистов из других научных центров. Кроме того, она занялась изучением важнейшей культурной категории, каковой является человек (сб. статей “Человек в контексте культуры. Славянский мир”. М., 1995), и проблемой соотношения истории и культуры (сб. “Культура и история. Славянский мир”. М., 1997).

Несомненной научной заслугой И.И. Свириды является освоение и всестороннее исследование понятия культурного пространства. Вышедшая в 1999 г. ее монография “Между Петербургом, Варшавой и Вильно. Художник в культурном пространстве” – пример развития этого понятия применительно к собственным историко-культурным изысканиям. В этой насыщенной фактическим материалом книге на обширном, в том числе архивном материале впервые прослеживается движение художников, заказчиков, произведений, эстетических идей, которое в XVIII – первой половине XIX в. происходило между тремя культурными центрами. Этим движением определялась реконструированная И.И. Свиридой жизнь культурного пространства на пограничье России, Польши и Литвы. Это пространство, как убедительно показывает автор, не идентично ни государственному, ни национальному. Его ключевыми фигурами являются мастера, многие из которых, как А. Орловский или В. Ванькович, принадлежат сразу нескольким национальным культурам.

Продолжая разрабатывать категорию пространства как одну из центральных категорий культуры, И.И. Свирида стала инициатором и руководителем проекта “Культура и пространство. Славянский мир”, результатом которого стал изданный под ее редакцией одноименный сборник статей (М., 2004). Она обратила внимание коллектива авторов на значение категории пространства в исследовании исторических и культурных процессов, происходящих в славянском ареале, на то, как представления о пространстве – природном, культурном, историческом, национальном участвуют в формировании картины мира, парадигм культуры, особенностей художественного творчества.

В ближайшее время выйдет в свет другой сборник под редакцией Иннесы Ильиничны – “Ландшафты культуры. Славянский мир”, также ставший плодом ее замысла и организаторских усилий. В его основу лег семинар “Ландшафт как историко-культурная проблема”, проводимый И.И. Свиридой в Отделе истории культуры в течение нескольких лет, где природный ландшафт рассматривался в качестве одного из порождающих начал культурных явлений. Завершена монография “Метаморфозы культуры. Славянский и общеевропейский контекст”.

Будучи постоянным участником полонистических научных мероприятий как в Институте, так и за его пределами, Иннеса Ильинична никогда не отрывает польской темы от общеевропейского контекста и прослеживает связи между Польшей и Россией разных веков. Ее разносторонняя деятельность существенно дополняется популяризацией польской культуры. Она активно сотрудничает с Польским культурным центром в Москве, где в течение нескольких лет читала цикл лекций по польскому искусству. Выступает И.И. Свирида и в Центре культуры Литвы. В этих странах – прежде всего, конечно, в Польше – ее работы хорошо известны и высоко ценятся. В 2003 г. достижения И.И. Свириды в области полонистики отмечены высокой правительственной наградой Польши – Кавалерским крестом заслуги.

Иннеса Ильинична – человек глубокой эрудиции и разносторонних дарований, в том числе музыкальных, знаток и ценитель всех видов искусств. Коллеги поистине восхищаются ее подлинной увлеченностью наукой, широтой интересов, поразительная работоспособность и творческая активность, а также трепетное отношение к собственным научным текстам, которые она готова совершенствовать до бесконечности.

Мы сердечно поздравляем Иннесу Ильиничну с днем рождения, желаем ей здоровья, благополучия, творческих сил и множества новых интересных научных замыслов.

К ЮБИЛЕЮ ЛЮДМИЛЫ НОРАЙРОВНЫ БУДАГОВОЙ

3 сентября 2007 г. отмечается юбилей д-ра филол. наук, одного из крупнейших литературоведов-славистов России – Людмилы Норайровны Будаговой. Круг профессиональных интересов исследовательницы распространяется не только на “родную” для нее чешскую литературу, но и на все славянские литературы, включая русскую, на вопросы поэтики литературных направлений XX в., динамики литературного процесса в странах Европы.

Л.Н. Будагова родилась в Твери, в семье выдающегося советского ученого, академика Н.М. Сисакина. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. С 1959 г. она работает в Институте славяноведения РАН. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию по творчеству В. Незвала. В 1995 – докторскую диссертацию “Особенности развития литературы западных и южных славян (конец XIX – первая половина XX в.)”. С 1988 г. Л.Н. Будагова возглавляет Сектор славянских литератур Института славяноведения РАН (Центр истории славянских литератур).

Работы Л.Н. Будаговой широко известны в нашей стране и за рубежом. Стиль исследовательницы отличается глубина проработки анализируемого материала, часто поэтического, теоретическая оснащенность, эмоциональность высказывания, “личная заинтересованность” в предмете изучения. Ее перу принадлежит около 300 научных работ, тематика которых расширялась от статей, посвященных В. Незвалу и другим чешским поэтам, до фундаментальных трудов по истории литератур славянских стран. Не утратила актуальности монография Л.Н. Будаговой “Витезслав Незвал. Очерк жизни и творчества” (М., 1967), поскольку в центре внимания ученого находились прежде всего эстетические и общечеловеческие составляющие исследуемой темы.

Л.Н. Будагова неоднократно обращалась к творчеству поэтов и прозаиков Чехии и Словакии: помимо Незвала, это А. Сова, О. Бржезина, Й. Св. Махар, К. Томан, И. Волькер, В. Голан, Я. Есенский, Ф. Грубин, В. Завада, Я. Заградничек, Я. Сейферт, И. Тауфер, М. Валек, М. Флориан, Св. Чех, К. Чапек, Ф. Шрамек и др. Она является автором ряда статей в академических “Очерках истории чешской литературы” (1963) и “Истории словацкой литературы” (1970). С годами возрастал интерес Л.Н. Будаговой к общим проблемам славистического литературоведения, среди которых – межлитературные связи, перевод поэзии, славянская поэзия в различные периоды XX в., славянский модернизм и авангард (в том числе – чешский поэтизм, сюрреализм, связь поэзии и живописи в сюрреализме), реализм, социалистический реализм, славянские литературы в период Первой и Второй мировых войн, новые подходы к изучению славянских литератур, новое в славистическом литературоведении, Пушкин и чешские поэты, традиции в литературе.

Новым словом в славистике стал подготовленный под руководством и при авторском участии Л.Н. Будаговой фундаментальный, не имеющий аналогов в мире трехтомный труд “История литератур западных и южных славян” (1997, 2001). В нем развитие литератур славянского ареала прослежено во всей полноте, начиная с IX в. и до 1945 г., без деления (особенно в XX в.) литературных явлений и писателей на “прогрессивных” и “реакционных”, с возвращением в круг исследования “упаднических” или “формалистических” течений модерна и авангарда. “История литератур западных и южных славян” была выдвинута на соискание Государственной премии России и заняла в рейтинге третье место (вкупе с “Историей литератур Восточной Европы после Второй мировой войны”).

Л.Н. Будагова – участница многих Международных съездов славистов с 1963 г., литературоведческих конференций в Чехии и других славянских странах. В то же время исследовательнице подвластна не только “высокая наука”, но и тексты просветительского характера – статьи в энциклопедиях и словарях, предисловия и комментарии к изданиям чешских и словацких писателей на русском. В этом русле идет и ее постоянное участие в работе “Шрамковой Сobotки” (Чехия), ежегодного семинара для учителей и студентов, где Людмила Норайровна популяризировала и русскую литературу.

Научное редактирование, руководство аспирантами, чтение лекций студентам МГУ – всему этому щедро отданы знания и душевные силы Л.Н. Будаговой. Она способна “загораться” новыми идеями и претворять их в жизнь – в виде “круглых столов”, конференций, исследовательских проектов, коллективных монографий и сборников статей. В числе ныне разрабатываемых – важные для сегодняшнего дня темы взаимоотношений славянского мира и России. Уже вышла в свет

книга “Россия в глазах славянского мира” (2007), состоялось заседание “круглого стола” “Славянский мир в глазах России”, где определилась концепция исследования.

Л.Н. Будагова пользуется большим авторитетом среди российских и зарубежных коллег. В трудные постперестроечные годы она удержала свое подразделение “на плаву” и вывела на новые научные рубежи. Людмила Норайровна может быть бескомпромиссно требовательной в вопросах науки и удивительно сердечной в чисто человеческих отношениях. Она любит повторять, что “в науке нет начальников”, что должен быть строгий спрос как с доктора наук, так и со вчерашнего студента. Ее коллеги могут всегда рассчитывать на консультацию, на поддержку идеи или статьи. Людмила Норайровна – надежный руководитель и постоянно ищущий ученый.

Институт славяноведения РАН искренне поздравляет Людмилу Норайовну с юбилеем и желает ей доброго здоровья, вдохновения, новых свершений.

Друзья и коллеги

CONTENTS

ARTICLES

<i>Mikheev S.M.</i> (Moscow). Distinctions in descriptions of events and mutual relations of the texts of Borys and Gleb' cycle	3
<i>Gippius A.A.</i> (Moscow). Toward the problem of "Povest vremennykh let" versions. I	20
<i>Moysienko V.M.</i> (Zhytomir). Ethno-linguistic attribution of "rusaska mova" during Grand Duchy of Lithuania and Rzecz Pospolita	45

COMMUNICATIONS

<i>Lukhovitsky L.V.</i> (Moscow). The Greek original of Konstantin Philosopher's "Writing about the right belief": the structural organization and polemic tasks.....	65
<i>Tchvyr N.V.</i> (Moscow). In searches of the past: historical ideas of XVIII century Bulgarian Catholics	74
<i>Buchanov I.I.</i> (Moscow). Czech culture of Hussite period as reflected in the works of our country historians at the end of 1940ies – early XXI century	87

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Kalinina T.M.</i> А.А. Тортика. Северо-Западная Хазария в контексте истории Восточной Европы (вторая половина VII – третья четверть X в.)	93
<i>Musin A.E.</i> Святые князья-мученики Борис и Глеб	100
<i>Garkusha L.M.</i> J. Boubin. Petr Chelčický. Myslitel a reformátor.....	111
<i>Kossik V.I.</i> Е.П. Серапионова. Карел Крамарж и Россия. 1890–1937 годы.....	115

SCHOLARLY LIFE

<i>Kyryllov Yu.V., Polyakov D.K.</i> Prague Forum of young Slavic Studies students	119
--	-----

ANNIVERSARIES

Towards the Anniversary of Inessa Ilyinichna Svyryda	124
Towards the Anniversary of Ludmila Norayrovna Budagova	126

Сдано в набор 31.05.2007 Подписано в печать 20.07.2007 Формат бумаги 70 × 100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кр.-отт. 4,7 тыс. Уч.изд.л. 12,0 Бум.л. 4,0
Тираж 443 экз. Зак. 446

Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Издатель: Академиздатцентр «Наука», 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20

E-mail: jurslav@rambler.ru; zhurslav@mail.ru

Оригинал-макет подготовлен МАИК «Наука/Интерпериодика»

Отпечатано в ППП «Типография «Наука», 121099 Москва, Шубинский пер., 6

